

**БОРИС
АКУНИН**



**КНЯЗЬ
КЛЮКВА**

**ИСТОРИЯ
РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА**



БОРИС АКУНИН

КНЯЗЬ КЛЮКВА



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
А44

*Любое использование материала данной книги, полностью или частично,
без разрешения правообладателя запрещается.*

*Серия «История Российского государства»
издается с 2013 года*

Оформление переплета — *Екатерина Фerez*

Иллюстрации *Игоря Сакурова, Михаила Душина*

Акунин, Борис.

А44 Князь Клюква. Плевок дьявола: [повести] / Борис Акунин. — Москва: Издательство АСТ, 2019. — 288 с.: ил. — (История Российского государства).

ISBN 978-5-17-104161-8

«...Но Господь судил иначе. Взял отрока робкого, в себя не верящего, ни к какому делу непригодного, за шкурку, будто котенка. Швырнул в стремнину. Можешь — плыви. Не можешь — тони...»

Начало XIII века. Русь раздроблена и слаба. Для Ингваря власть — тяжелая ноша, а долг перед подданными его небогатого княжества требует работать усердно, не зная отдыха. Вот уже и люди начали сводить концы с концами, и хрупкий мир с опасными соседями-половцами держится, и правитель наконец осмеливается поверить в скорое счастье. Но что будет, если человек, на плечо которого Ингварь вправе рассчитывать, не сможет пройти искушение властью?

В книгу вошли повести «Плевок дьявола» и «Князь Клюква», являющиеся частью проекта Бориса Акунина «История Российского государства в романах и повестях».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© В. Akunin, автор, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2019



ПЛЕВОК ДЪВОЛА

Повестъ



АГАФОДОР

С днепровских порогов, некогда кишевших разбойниками, а ныне всего лишь досадно замедлявших путь, в столицу великого архонта Ярославоса отправили гонца, так что в Киеве императорского посла уже ждали и подготовились, как подобает. Прикрыв ладонью лоб от яркого майского солнца, Агафодор разглядел церемониальный караул — большой отряд всадников в сверкающих доспехах. Подплыли ближе — рассмотрел и парадный экипаж: повозку с парчовым балдахином, запряженную восьмеркой огромных быков. Принимающая сторона знала все тонкости протокола — в знак почтения к духовному званию посланника быки были не белой масти, а черной. Искорками вспыхивали посеребренные рога.

Убедившись, что русские приготовились как должно и ущерба ромейской чести не будет, Агафодор спустился в трюм, чтобы не торчать на палубе, не ронять престижа. Хоть до нарядной повозки по причалу надо было пройти не больше тридцати шагов, достоинство не позволяло послу преодолеть это расстояние пешком. Матросы собирали на палубе лектику, золоченый паланкин, увенчанный двуглавым византийским орлом. На лиловых шторах было выткано изображение трилистника. Цвет обозначал епископский сан Агафодора, трилистник — придворный ранг протопродра. Поверх бархатной мантии, в знак своей двойной значительности, высокий гость повесил рядом финифтяной архиерейский крест и цепь с ярлыком императорского посланника.

Корабль с мягким хрустом стукнулся бортом о причал, покачался, встал. Тогда Агафодор, медленный и торжественный, выплыл из недр диремы по лестнице на палубу — и насупился. Проклятые бездельники всё еще возились с носилками. Пятиться назад было неуместно. С берега епископа, конечно, уже заметили. Поэтому он остановился, торжественно осенил крестным знаменем берег, а потом сложил ладони и слегка опустил голову, как бы молясь. Веки благоче-

ство припустил, но черные глаза из-под ресниц непрестанно постреливали по сторонам, приглядывались. От многого чтения Агафодор с возрастом стал вблизи видеть неважно, зато даль прозирал лучше, чем в молодости. Даже усмотрел, что запряженные в повозку быки холощенные, и на миг сдвинул брови (не насмешка ли), но тут же успокоил себя: нет, просто волю покойнее, да и откуда русам знать?

Облик у епископа-протопроедра был величественный, а пожалуй что и прекрасный: тонкое лицо значительно, бело, неморщинисто, густые брови черны, длинная борода же, наоборот, безукоризненно седа. Чувствуя устремленные на него взгляды, Агафодор поднял очи к холму и жестом, полным сдержанного изящества, перекрестил город Киев.

Русская столица оказалась больше и пышней, чем можно было заключить из описаний. Не только возвышенность, но и вся местность вокруг нее были застроены домами, купеческими дворами, складами. В опояс холма тянулся неприступно высокий земляной вал, утыканный частоколом из таких огромных сосен, каких епископу у себя на родине видеть не доводилось. Близко друг к дружке, будто толкаясь плечами, стояли могучие башни, а одна, сдвоенная, охраняла ги-

гантские ворота, распахнутые створки которых пылали нестерпимо ярким сиянием.

За спиной посла один вэринг из охраны сказал другому:

— Смотри, у конунга Ярицлейва ворота чистого золота. Верно говорят, что на земле нет государя богаче.

— Наши, кто служит у русов, довольны, — ответил товарищ. — Может, и нам наняться?

Агафодор знал множество языков, одарило его Провидение этим полезным даром, однако же без необходимости своих знаний не выказывал, ибо умный человек предпочитает выглядеть невежественней, чем есть на самом деле. Но тут, взволнованный и расстроенный величием русской столицы, не сдержался.

— Ворота не золотые, а медные, — сказал он, полуобернувшись, своим высоким, красивым голосом, которым, бывало, так умирительно выводил с амвона «Трисвятое песнопение» или «Песнь херувимскую». — Не всё золото, что блестит, дети мои.

Вэринги — косматые, увешанные оружием, каждый вдвое шире худощавого епископа — захлопали поросячьими ресницами. Агафодор мысленно обругал себя: разболтают остальным, и теперь охрана будет таиться. Не узнаешь, что у



дикарей на уме. Еще вправду перейдут на службу к русским — сраму не оберешься.

Лектика наконец была готова. Слуги, почтительно придерживая посла под локти, усадили его на мягкие подушки. Паланкин, слегка качнувшись, вознесся вверх. Поплыл по трапу на пристань.

Раздвинув занавески, Агафодор благословил собравшихся на берегу зевак. Их, увы, было не

столь много. Скверный знак. Прибытие имперского посольства для киевлян не бог весть какое событие?

Зато все собравшиеся закрестились в ответ, а многие и поклонились. Согласно донесениям русского клира, в славянских лесах еще полным-полно язычников, однако же столичные жители, кажется, сплошь христиане. Отрадно.

Возле экипажа, позади которого стройной шеренгой выстроился почетный караул кольчужных конников (молодец к молодцу — не хуже кесаревых схоляриев), стояли двое: один седой, клинобородый, в рясе, с посохом, другой средних лет, одетый по константинопольскому придворному этикету, но с бритым подбородком — значит, рус. Первый, должно быть, хорепископос Еразм, временный блюститель киевской кафедры. Второй — чиновник, ведающий приемом послов. На него-то Агафодор и воззрился со всем возможным вниманием. Тут очень важно, какого ранга служитель встречает и как себя поведет. По этому можно определить, насколько расположен архонт Ярославос к гостю, а стало быть, успешной ли будет непростая миссия.

Официальной причиной посольства было извещение о смерти императрицы Зои и объявление, что отныне базилевс Константин Мономах

становится автократом, то есть будет править империей единолично. На самом же деле опытного дипломата отправили в Киев с трудным заданием отговорить великого архонта от притязаний на автокефальность. Главу своей церкви, митрополита киевского, русы всегда получали из Константинополя, по воле патриарха. Однако после того, как в прошлом году умер киевский предстоятель Феопемпт, Ярославос заявил, что русские епископы отныне желают выбирать митрополита сами. Попросту отказать было нельзя. Обойдутся без позволения, и ничего с этим не поделаешь. Однако и согласиться в нынешних обстоятельствах невозможно. Это станет тяжким ударом по авторитету патриархии, которая ныне и без того переживает ужасные времена. Вот-вот оформится окончательный разрыв с папским престолом, Христова церковь расколется на восточную и западную. Выход богатой и сильной русской державы из константинопольского управления вызовет в стане римских раскольников ликование. Поди, немедля пришлют посольство звать русов под эгиду Святейшего Престола. Посулят и автономию, и прочие привилегии. Ярославосу что? Земные potentаты в тонкости церковных споров не вникают. На чем творить евхаристию — на облатках или опресноках, да

как именно чтить Деву Марию, да из чаши ли причащаться, это киевскому князю, пожалуй, все равно. Ради того, чтобы заполучить такой куш, римские схизматики разрешат служить в здешних церквах не на латыни, а на славянском. И глава здешней церкви может счесть, что зваться кардиналом не хуже, чем митрополитом...

В прежние времена базилевс мог бы пригрозить Киеву прекращением торговли, а то и военными карами. Но те времена, увы, миновали. Русы теперь возят товары на Запад и на Восток не только через Константинополь, но и напрямую. А лишаться русского импорта — себе дороже. Всякий мало-мальски зажиточный европеец непременно носит меха, иначе зазорно. Все соболя и куницы, основная часть бобров идут из владений Ярославова. Отказаться от барышей, которые дает перепродажа пушного товара венецианцам, — разорение для константинопольского рынка. Еще важнее русский воск. Без свечей померкнет свет в богатых домах, угаснет божественное сияние церквей, погрузятся во мрак монастыри.

И военной силы, чтобы приструнить непокорных, тоже нет. За четверть века, миновавшие после смерти Василия Великого, империя пришла в упадок. Бунты, позорные скандалы, казно-

крадство, неурожай истощили былую мощь Византии. Попробуй-ка, потолкуй с Киевом на языке ультиматумов. Пожалуй, заявятся под самые стены Константинополя, как семь лет назад. Тогда, благодарение Всевышнему, морская буря выручила, и флот еще не весь сгнил. А ныне? Боевые корабли вышли из годности, солдаты от безденежья разбрелись... Эх, великая империя, куда катишься?

Нет больше свирепых пачинакитов-печенегов, которых всегда можно было натравить на русов. Ярославос нанес им такое сокрушительное поражение, что степные орды разбежались кто на закат, кто на восход. Целый век, или даже больше, черной тучей нависали кочевники над киевскими рубежами — и сгнули. Днепровские пороги свободны, пограничные крепости русов стоят пустые, войску занять себя нечем. Очень нехорошо это, когда у соседа большое войско, которому нечем себя занять. Нет, пугать великого архонта применением силы было никак нельзя.

Однако, когда с оппонентом не получается говорить языком грозным, есть способ почти столь же действенный — язык выгоды.

Посол прибыл не с пустыми руками. Было у него в запасе средство, с помощью которого мож-

но было убедить князя отказаться от пагубного решения. У преосвященного Агафодора в широком рукаве черной рясы был припрятан хороший козырь.

Один раз, тому шестьдесят с лишним лет, точно такой же трюк превосходно сработал. Тогдашний русский архонт Владимирос согласился обратить своих подданных в византийскую веру, если ему дадут в жены императорскую дочь.

Что ж, пусть у Константина Мономаха казна пуста, а войско малочисленно, зато тоже есть дочь на выданье, царица Мария. А у архонта Ярославоса недавно, в феврале, скончалась супруга. Он, правда, стар, но разве это помеха выгодному браку? Прежняя жена была варварского скандинавского племени, дикарка. Великому государю такой союз стыден. То ли дело византийская принцесса!

У Ярославоса, конечно же, от одного только намека слюни потекут. И тут можно будет твердо сказать: «Хочешь стать зятем базилевса — сохрани верность византийскому патриарху».

От родства с киевским престолом империя обретет не только религиозную, но и политическую выгоду. Прежде русское царство существовало в тени великого Константинополя, зависело

от него хозяйственно и церковно, приглашало из Византии учителей и клириков, мастеров и зодчих, трепетало от одной мысли, что торговля с империей может остановиться. Но Ярославос не пожелал оставаться ромейским полувассалом, он стал смотреть в иную сторону — на запад. Там имелись и другие державы. Год от года они всё напористей теснили Византию.

Трех старших сыновей архонт женил на европейских принцессах, трех дочерей выдал за европейских государей — норвежского, венгерского и франкского. Прежде Русь считалась частью ромейского мира, но эти времена закончились.

Бракосочетание русского монарха с дочерью базилевса вернет всё на свои места. Киев вновь оборотит лик к югу, крепкий союз восстановится, римские и германские козни рассыплются в пыль. И, может быть, удастся выпросить у Ярославоса войско, чтобы отогнать от византийских границ обнаглевших сельджуков...

Все эти мысли пронеслись в голове многоумного епископа в несколько мгновений, пока русский чиновник и хорепископос шли навстречу паланкину.

Поклон славянина (а может быть, вэринга — у киевлян не всегда разберешь) был ни-

зок, почтителен. Немного отлегло от сердца: так не встречают тех, кому желают продемонстрировать пренебрежение. Длинное, превосходно составленное приветствие на греческом языке, со всеми приличествующими торжественному событию учтивыми оборотами, было безупречно.

Однако когда чиновник назвался — драгуманос Благомудр, — гладкое чело посланника омрачилось. Как, всего лишь переводчик? Не ближний боярин? Даже не нарочитый муж? Плохой знак, плохой...

И на стандартную просьбу о благословении константинопольский гость ответил сухо:

— Не могу, сын мой. У тебя языческое имя.

— Есть и крестильное — Телесфор, — не стусевался драгуманос. — У нас такой обычай, преосвященный: в повседневности зовемся обычным именем, а христианское бережем для важных случаев. Великий князь говорит: «Пока я жив, я Ярослав Владимирович, а как скончаюсь — стану Георгий. Так и на гробе моем напишите».

— В том и беда, что многие вспоминают о своем христианстве лишь перед встречей с Всевышним, — вздохнул епископ и истово, от души перекрестился. — Но я возношу Господу моле-

ния, чтобы архонт как можно долее оставался Ярославом... Здоров ли светлый государь?

Предписанную протоколом фразу он произнес с нажимом, давая понять, что вопрос задан не для проформы. Сам так и впился глазами в лицо чиновника. Ярославосу семьдесят лет, глубокий старец. Если нездоров или, не дай Боже, готовится лечь в гроб, всем хитроумным планам конец.

Но Благомудр ответил легко и весело:

— Государь здоров. Давеча был на соколиной охоте. Здоров ли август? Про кончину августы Зои нам уж известно. Какая утрата.

И лицом изобразил столь сложную мозаику, что самый искусный ромейский царедворец позавидовал бы: приличная скорбь и в то же время поздравление.

Значит, русы отлично осведомлены о константинопольских дворцовых делах и их тайной подоплеке. Это Агафодора не порадовало.

— Зачем такой многочисленный караул? — перевел он разговор. — В Киеве неспокойно?

— Спокойней спокойного, — уверил чиновник. — Государь повелел оказать драгоценному гостю сугубое почтение. При «сугубом почтении» полагается сопровождение в сотню конных дружинников, по-вашему — гвардейцев. У вели-

кого князя дружина большая, десять тысяч латных воинов. Я слышал, августосу Константину хватает пяти?

«И тех уже нет», — подумал Агафодор, глядя на почтительно-лукавую физиономию русского драгуманоса. Но не подобало императорскому послу состязаться в мелком пикировании с обычным переводчиком.

— Едем, — повелительно молвил он и отвернулся от чиновника. Местоблюстителя же, сердечно облобызав, пригласил сесть с собой в парадный экипаж, запряженный черными волами.

Хорепископос Еразм, греческий поп незначительного рода, много лет назад посланный служить в далекую северную страну, не имел никакой важности, однако Агафодор рассчитывал по дороге получить от соотечественника полезные сведения.

Сдвинув шторы, чтобы драгуманос не лез с этикетными любезностями, посол откинулся назад, на ковры, и уже безо всякой сердечности, а строго и требовательно велел:

— Рассказывай главное.

До города рукой подать, путь будет коротким. Терять время на пустые разговоры нельзя.

Еразм хорошо понимал, кто он по сравнению с Агафодором, птицей высокого полета, и

потому сидел на краешке сиденья вполоборота, скромно. Хотя и был местоблюстителем большой, на семь епархий, митрополии, однако ж знал: возвышение его временное, и киевским предстоятелем ни при каком сочетании светил ему не быть.

— Скажи, что главное, преосвященный, и я отвечу.

Агафодор раздраженно фыркнул:

— Хорош местоблюститель! Еще спрашиваешь! Что остальные шестеро архиереев? Крепко ли стоят за патриархию? Ведь четверо из них — греки.

— Как и я, господин, — смиренно молвил Еразм. — Но прежде всего каждый из нас пастырь. Тебе ведом обет: будь верен Господу, а после Него своей пастве. Наша паства русская, и мы тоже стали русскими. Что хорошо для Руси, хорошо и для нас. А Русь ныне сама хочет решать, кто окормляет ее церковь.

Глаза константинопольца подозрительно сощурились:

— Уж не тебя ли наметил в митрополиты архонт, коль ты ведешь такие речи?

— Не меня, — всё так же тихо ответил Еразм. — Киевским епископом, а равно и предстоятелем великий князь желает поставить пре-

свитера Иллариона, родом славянина. Это муж весьма благочестивый и ученый. Читатель книг, аскет. Он прежде жил в пещере, удалясь от мира, но Ярослав велел святому старцу быть при дворе. Это будет достойный патриарх, поверь мне.

— Не будет, поверь мне! — раздраженно передразнил Агафодор. — Рус — митрополитом? Святейший патриарх никогда не согласится!

— На то воля святейшего патриарха. А только, если позволишь высказать мое скромное суждение, господин, лучше бы не перечить великому князю. Иначе он уведет свой народ и церковь к латинянам, и будет Русь молиться Всевышнему криво, от чего погибнет много живых душ...

Посол молчал, хмуро глядя на величественные ворота, к которым приближался длинный кортеж.

Они, конечно же, подражали знаменитым Золотым воротам византийской столицы, но высокая двойная башня была сложена не из грубого камня, а из розового кирпича, и на медных листах, покрывавших всю поверхность створок, не облезла позолота. Константинопольские этак не сверкали. Их уместнее было бы назвать «зелеными» — бывшее великолепие давно потускнело, окислилось.

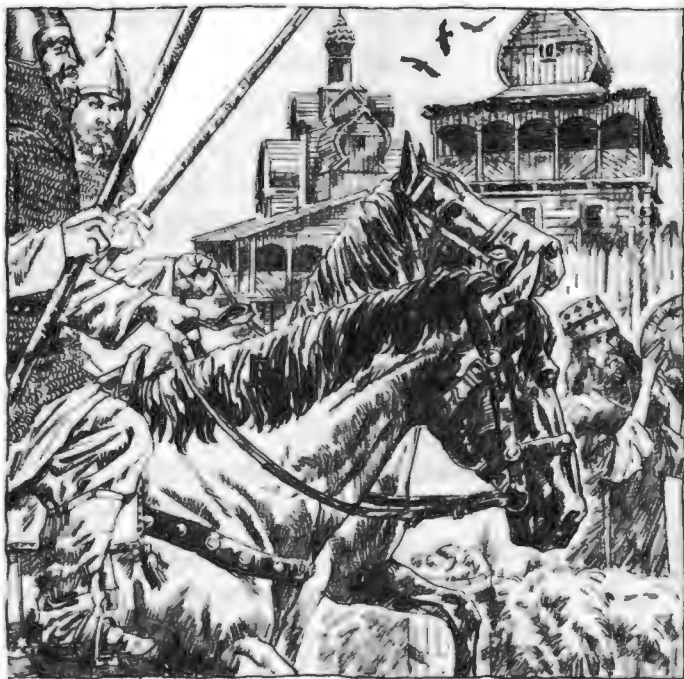
Под высоким сводом загрохотало эхо. Ненадолго сделалось темно. Протопроезд отодвинул занавеску, но экипаж уже выехал на городскую улицу, и Агафодор на минуту ослеп от яркого солнца.

Копыта волов сочно постукивали, колеса повозки погромыхивали железными ободами. Улица оказалась мощенной — не камнем, как в Константинополе, а широкими дубовыми досками, ехать по которым было приятно. Дубовыми были и высокие тротуары.

Это произвело на посла впечатление. Какое расточительство! Дерево, в особенности дуб, в ромейской столице было много дороже камня.

Разговор прервался. Агафодор смотрел по сторонам, желая составить впечатление о городе, про который говорили, что он тщится соперничать со Вторым Римом, а Первый уже и превошел.

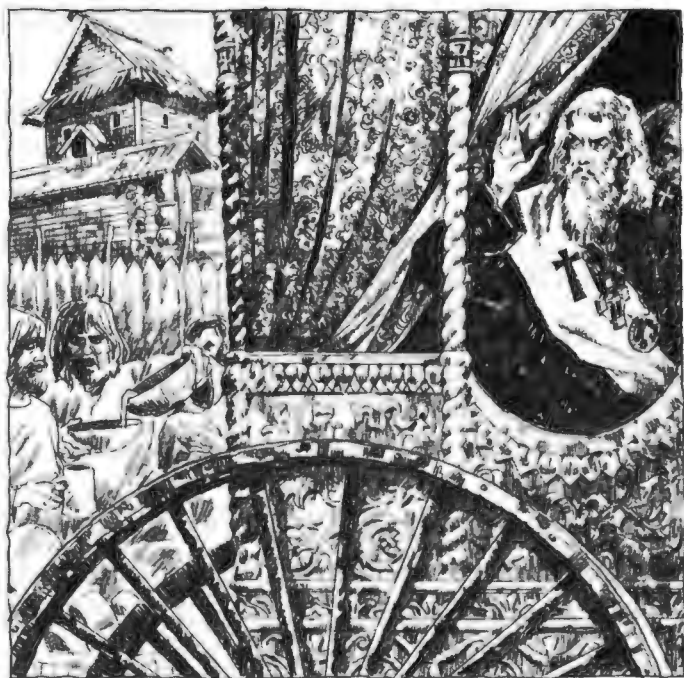
На Константинополь, если не считать Золотых ворот, Киев был совсем не похож. Во-первых, сплошь деревянный. Во-вторых, много чище. В воздухе не ощутимо зловоние, которым насквозь пропитан воздух константинопольских торговых предместий, хотя расположенный близ стены квартал тоже был коммерческим: по обе стороны тянулись товарные склады, амбары, ку-



печеские конторы. Вскоре показалась и рыночная площадь.

Посол быстро поворачивал голову, чтобы ничего не упустить.

Константинопольский базар обилен и многообразен, но киевский был не беднее. Правда, отсутствовали венецианцы и куцеватым выглядел арабский ряд, зато немцев было много больше, а краснобородые закаспийские купцы, торговав-



шие здесь цветными кожами, шелками и узорчатой конской сбруей, до империи из-за сельджукской угрозы вовсе не добирались. Многочисленнее всего были греки, низко кланявшиеся посланнику базилевса. Благословляя соотечественников, Агафодор наскоро оглядывал их товары. Ткани, сушеные фрукты, свитки пергамента, чернила, стеклянная посуда, амфоры с вином и маслом — всё лучшего качества, а не бросовое,

что возят дикарям, не умеющим отличить дорогое от дешевого.

— Константинопольский рынок вдвое, если не втрое шире, — с удовлетворением заметил посланник. — Киеву пока далеко до нашей столицы.

— Здесь торгуют только иноземцы, — прошелестел тихий хорепископос. — А всего рынков в городе семь. И каждый больше этого...

На это Агафодор ничего не сказал. Он смотрел уже не на торговцев, а на обычных людей. По уличной толпе лучше всего видно, какова жизнь в городе.

Лица у прохожих были такие же дерзкие, как у константинопольской черни. На важного грека и его пышную повозку киевляне глазели без робости и без особенного любопытства. Поди, чуть что — бунтуют, подумал Агафодор, но сам себе возразил: бунтуют от голода, а у этих больно сытые рожи. И оборванцев почти не видно.

Ах, хороший город. Очень хороший.

И возникла мысль, захватывающе интересная: вот бы самому сделаться русским митрополитом...

После торговой площади начались жилые кварталы. Чем ближе к центру, тем больше и на-

ряднее становились дома. Дворы побогаче были обнесены частоколом, так что самого дома не разглядишь, но над заборами возвышались горбатые крыши с башенками, шпилями, затейливыми флюгерами. А затем появились и каменные постройки ромейского стиля — некоторые даже с колоннами. Агафодору они понравились меньше деревянных теремов.

— Сейчас ты узришь Святую Софию, новый кафедральный собор, — торжественно предупредил Еразм, показывая на угол площади, к которой приближалась процессия.

Золотые купола главного киевского храма посол видел еще издали, от подножия холма; время от времени они выныривали и в просветах между домами. Наконец представилась возможность посмотреть на митрополичью церковь вблизи.

Недурна, но до нашей Софии ей далеко, подумал Агафодор — впрочем, без удовлетворения. Если получится стать русским предстоятелем, то *нашей* будет эта София, а не константинопольская.

Новая мысль занимала епископа всё сильнее. Митрополит киевский? Почему бы и нет? Нужно всего лишь понравиться архонту — убедить его, что с таким главой церкви он отлично пола-

дит. А патриарх только обрадуется: в Киеве сядет человек надежный, из своих.

И русская столица протопроэдру сразу же стала очень нравиться. Город, конечно, лишен истинного величия, слишком пускает пыль в глаза своим свежееобретенным богатством, но чувствуются мощь, размах, а главное — *будущее*. Не то что в Константинополе, который всё больше напоминает роскошный, но обветшавший некрополь.

Захваченный соблазнительной идеей, Агафодор не сразу заметил, что кортеж постепенно удаляется от центра. Дома вновь стали не каменными, а деревянными, ограды сделались ниже, потом вовсе исчезли.

Наконец, удивленно уставившись на глинобитные лачуги, до половины утопленные в земле, посол спросил:

— Куда мы едем? Где дворец архонта? На противоположном конце города?

— Нет, господин, городской дворец остался в стороне. Мы следуем к воротам Святого Михаила, откуда идет дорога на Вышгород. Это замок в пятнадцати милях к северу. Великий князь живет в Вышгороде, а в Киеве бывает наездами.

«Почему же мы не отправились в резиденцию сразу?» — хотел спросить Агафодор, но не стал. И так ясно. Русы хотели произвести впечатление на византийского посла, явив ему пышность стольного града. И им это удалось...

— Потому тебя на пристани встретил провожатый, а не сам великий князь либо его полномочный представитель, — прибавил хорепископос. Глупцу следовало бы предупредить о столь важной вещи с самого начала — протопроедр не стал бы выказывать драгуманосу неудовольствия.

А впрочем, предупредить об этом должен был переводчик, тут же подумал Агафодор — и усмехнулся. Тонкости дипломатической игры он знал в доскональности. Хотят выбить посла из равновесия: заставить усомниться в своей значимости, дабы не заносился, а уж после принять честь по чести. Молодцы, ловко.

— Так ко мне выедет сам великий архонт? — спросил он, ободрившись.

— Не мне то знать, — отвечивал скучноумный местоблюститель.

Проку от него было немного, и Агафодор замолчал, решив, что чем тратить время на разговоры, лучше подготовиться к встрече, от кото-

рой, возможно, будет зависеть вся жизнь. Очаровать и обаять государя русов при первом же свидании — вот что главное. Этим искусством опытный царедворец, знаток человеческих душ, владел в совершенстве.

Часа через три неспешной езды по гладкой дороге, вдоль широкой, живописной реки, хорепископос нарушил затянувшееся молчание.

— Вон Вышгород, господин, — показал монах на темневший вдали холм.

Смотреть нужно было против солнца, и Агафодор разглядел лишь тесно скученные крыши, верхушки башен, золотые полушария церковных куполов.

«Это разумно — устроить резиденцию вблизи от столицы, а всё же не рядом, — подумал он. — Базилевсу следовало бы сделать то же самое, и мятежи городской черни так не сотрясали бы престол. Охлос ленив и быстро остывает. Пока толпа доберется до загородного дворца, она сильно поредеет, а монарх успеет как следует укрепиться. Не зря Ярославоса прозвали мудрым».

— Смотри, преосвященный, вот и встречающие, — тронул его за рукав Еразм.

Встрепенувшись, посол перевел взгляд ниже.

У подножия холма был разбит узорчатый шатер, около которого толпились люди и были привязаны лошади. Там происходило движение.

Вот кто-то в длинном алом плаще первым сел в седло. За ним длинной вереницей выстроились остальные всадники.

Процессия медленно, торжественно тронулась навстречу посольскому кортежу.

К повозке подъехал переводчик, громогласно объявил:

— В знак почтения к великому августу тебя встречает пресветлый князь!

Агафодор приосанился, расправил складки парадного облачения, поправил на груди крест и золотую цепь.

— Спустите меня! — приказал он.

По протоколу государя полагалось приветствовать, стоя на земле.

Слуги приняли епископа под руки, помогли сойти на проворно расстеленный ковер.

— Князь сидит в седле, как молодой, — сказал Агафодор драгуманосу, глядя на приближающуюся процессию.

Благодар засмеялся, очень чем-то довольный.

— Он и есть молодой. «Пресветлым князем» называют Святослава Ярославича, государева сына.

Хоть протопроэдр очень хорошо умел управлять своим лицом, но здесь за бровями и ртом не уследил: брови поползли кверху, губы — книзу. Из-за принца он, посланник кесаря, спешиваться бы не стал! Какой урон для достоинства империи!

Переводчик невинно осведомился:

— Не думал же ты, господин, что сам великий князь в свои семьдесят лет выедет тебя встречать?

Лезть обратно в экипаж было глупо. Агафодор поступил иначе — сделал вид, что сошел на землю, дабы помолиться. Пусть принц подождет, пока божий человек взывает к Тому, Кто превыше земных владык.

Преклонил колени на ковре, трижды поклонился большим поклоном, принялся нараспев благодарить Всевышнего за благополучное окончание долгого путешествия. Сам поглядывал искоса — что «пресветлый князь».

Принц, подъехав, с минуту подождал в седле. Потом спрыгнул, подошел к переводчику. Тот, поклонившись рукой до земли, зашептал-заворковал. Докладывал.

Сын великого архонта был высок и статен, с подкрученными светлыми усами и, как все русы, без бороды. На голове, несмотря на теплый день,

малиновая шапка с собольей опушкой. Из-под скарлатного плаща виднелась лазоревая шелковая рубаха, а сапоги были зеленые, арабской кожи. Такой павлин и в Константинополе считался бы щеголем.

Поскольку Агафодор всем видом показывал, что всецело поглощен беседой с Богом, пришлось и хорепископосу преклонить колена.

Одним дыханием посол спросил:

— Что знаешь про принца?

— Христианское имя Никола. Лет ему двадцать три. Женат на немецкой принцессе. У Ярослава он по старшинству третий.

— Третий?! — Посол скрипнул зубами. Это даже не наследник престола?! Какое неуважение! Ну, ты у меня подождешь, пресветлый князь.

— Да. Старший княжич Владимир — наместник в Новгороде. Второй, Изяслав, — в Турове. Святослав же и прочие сыновья состоят при отце. Своих областей в управление они пока не получили.

Выходило, что из живущих в Вышгороде принцев этот все-таки старший. Значит, обижаться не на что.

Протопроезд был наделен полезным для придворного талантом — умел говорить и слушать одновременно, а слухом обладал наиострейшим.

Голос у князя был громче, чем у переводчика, и, когда Никола-Святослав говорил, Агафодор улавливал каждое слово.

— Прислали что из Цареграда? — спросил молодой человек.

Благомудр что-то прошелестел.

— Дай.

Взял у драгуманоса малый пергаментный свиток, развернул, стал читать.

Русский язык посол понимал хорошо, потому что в свое время служил при орхидском архиепископе, предстоятеле болгарской церкви. Два славянских наречия были очень похожи.

Что за свиток из Царьграда? Не иначе донесение от секретного агента. Депешу передал драгуманосу кто-то из посольской свиты. Удивляться нечему, так устроен мир: все друг за другом шпионят. Но хорошо бы вызнать, кто из слуг или секретарей подкуплен. И главное — что там, в письме?

Решив потомить третьего сына ожиданием, епископ громко затянул самый длинный из псалмов: «Блаженны непорочные в пути».

Но князь удивил грека.

Раздались легкие, но уверенные шаги, и принц Никола опустился на колени прямо перед священнослужителями. Верным, звонким голосом пропел, перескочив в самый конец псалма:

«Заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл».

После чего объявил:

— Амины!

Лицо у Николы было пригожее: нос прямой, брови будто два лука, а глаза дерзкие, веселые. Пахло от принца духами и мальвазеей — должно быть, вволю наугощался, дожидаясь византийского посла.

— Приветствую тебя, благородный Агафодор, от имени великого князя и от своего собственного, — складно и чисто заговорил князь по-гречески. — Отец поручил мне опекать и услаждать твое преосвященство, чтобы пребывание в Вышгороде было тебе приятным. Как услаждают черноризцев, я не ведаю, но приложу все старания. Хочу стать твоим другом.

— То будет для меня великая честь, — учтиво ответил посол, внимательно глядя на бойкого молодого человека.

— Тогда давай встанем. Что ж коленки мозолить?

Никола поднялся сам и помог распрямиться гостю.

«Ишь тёртый какой, — думал Агафодор. — А ведь двадцать три года всего... Впрочем, принцы обретают зрелость рано».

Он уже определил, что с этим весельчаком следует держаться просто и без чванства. Если в самом деле удастся с ним близко сойтись, дружба может оказаться очень и очень полезной.

— Прекрасный принц, — сказал посол с добродушной улыбкой, — я хоть и монах, но радостей жизни не чуждаюсь. Ныне не пост, так что буду рад и вину, и яствам, и дозволенным увеселениям.

— Для меня что увеселительно, то и дозволено. — Князь засмеялся, сверкнув белыми зубами. — Потешу по-нашему, по-вышгородски. А ты уж сам решай, какие развлечения тебе дозволительны, а какие нет.





СВЯТОСЛАВ

Молодой князь провел минувшую ночь весело — как, впрочем, проводил все ночи своей веселой жизни. Ёшка-хазарин, что привозит из Итиля мягкие, как перчатки, арабские сапоги, пряные ароматы, вяленые дыни, серебряного шитья наряды и многое иное, от чего сладостней живется, потешил своего постоянного покупателя — подарил персидскую девку особенной выучки. Ох хороша, ох затейна! Собою кругла, голос колокольчиком, кожа благоухает, перси — два шелома золоченых, и в постельном деле искусница.

Что ж себя не потешить? С вечера Святослав, как положено, к законной супруге в спальню наведался, свой мужеский и княжеский долг честно исполнил, постарался ради произведения потом-

ства. А всю ночь со скучной дурой проводить не-
зачем. Свою жену, немкиню Цецилию, он прене-
брежительно звал Цыцкой. Полгода уже в Киеве,
а ни единому слову по-русски не выучилась, всё
«ме» да «ме», овца саксонская. Зато она — племян-
ница германского императора Генриха, который
собственной волей назначает и низлагает римских
папстов. Государь потому и поручил своему треть-
ему сыну принять греческого посла — тот, когда
узнает, на ком женат Святослав, намек поймет.

Подоплека дела, за которым прибыл из Царь-
града сей Агафодор, была хорошо известна, а
свой человек, наблюдающий за кесаревым дво-
ром, еще и письмецо прислал. Пока ромейский
епископ молился, святость выказывал, Свято-
слав то письмо прочитал, усмехнулся.

Ах батюшка, мудрая голова! Даже про заман-
ку с царевной угадал — что непременно захочет
император Константин посулить свежнему вдов-
цу в жены свою дочь, ибо никаких других бо-
гатств у владельца разоренной державы нет. Во
всяком трудном случае греки сверяются со ста-
рыми хрониками, а там у них написано, что за
руку византийской царевны «киевские архонты»
готовы хоть душу продать.

«Стар я сызнава жениться, — сказал Яро-
слав. — Да и много Константину чести будет.

Отец мой худее и беднее меня был, в деревянном тереме жил, а царевну взял багрянородную, в кесарском дворце рожденную. Не пристало мне, господину всей русской земли, брать в жены девку низкородную, прихотью судьбы вознесенную вместе со своим прощелыгой-родителем. А коли цареградцы завтра опять забунтуют и Константину этому, как прежнему царю Михаилу, глаза выколют? Кто она тогда будет, эта Марья-царевна? Нет уж. Не пара она мне. За Всеволода пускай идет. Ему двадцать лет, пора женить».

Святослав позволил себе усомниться — отец разрешал княжичам с ним спорить, поощрял в них остроумыслие:

«Чтоб базилевс отдал царевну за четвертого сына? Не согласятся на это греки».

«Для того и приставляю тебя к послу. Потом его, сбей спесь, поводи на узде по кругу, а после, когда взмылится, оседлай. Ты умеешь. Ко мне его допустишь, когда дозреет».

Задание Святославу было по сердцу. И греческий поп князю тоже понравился. Глаз у царьградского гостя острый, разговор увлекательный.

К замку они ехали бок о бок — Святослав на коне, рядом с возком — и вели беседу.

Для начала князь с видимой почтительностью, но внутренне веселясь, сказал про новопреставленную императрицу Зою, известную на весь христианский мир своими непотребствами:

— Какое злосчастье для вашего государя лишиться столь мудрой и благочестивой соправительницы.

Ждал услышать в ответ что-нибудь постное и велеречивое, но преосвященный Агафодор удивил.

— Про благочестивость покойницы я поведаю твоему великому отцу на аудиенции, а коли мы с тобой, принц Никола, друзья, то позволь говорить попросту, по-дружески. — И лукаво улыбнулся. — Я знал императрицу много лет. О, такие женщины рождаются на свет нечасто! Без нее жизнь в Константинополе сделалась скучна. Хочешь, я расскажу тебе, какой была Зоя Багрянородная?

И рассказал.

— Всю жизнь ею владели две сильных страсти, две мечты: одна, казалось бы, невозможная, другая, казалось бы, легко осуществимая. Зоя желала, во-первых, быть вечно красивой, никогда не стареть. А во-вторых, стать матерью. Неисповедимый Промысел Божий удовлетворил грёзу о небывалом и отверг чаяние, которое осу-

шествляют каждый день тысячи женщин. До конца своих дней Зоя оставалась молодой и ослепительно прекрасной. Злые языки утверждали, что это чудо свершилось не волшебным образом, а благодаря мазням, притираниям, мудреным минеральным ваннам и прочим ухищрениям, которым Зоя посвящала бóльшую часть дня. Это правда, что она никогда не выходила на солнце, оберегая белизну кожи, и поддерживала в своих покаях особенную теплую влажность, при которой не образуется морщин. Но мало ли на свете принцесс или патрицианок, которые прилагают не меньше усилия для сохранения красоты? Кому из них удалось в семьдесят лет выглядеть, как в тридцать? А императрица, когда я видел ее в последний раз, была так же лучезарна, как в правление ее отца Константина Восьмого, когда я впервые попал ко двору. Зоя действительно сумела обмануть время, что мало кому удастся. Но совершить дело самое легкое и обыденное — родить ребенка она так и не смогла.

Это неудивительно, если учесть, что впервые ее выдали замуж пятидесятилетней. Ты улыбаешься, благородный Никола? Напрасно. Порфирородная царица подобна редчайшей жемчужине. Многие, подобно твоему деду, великому архонту Владимиру-Василию, мечтают возвыситься,

обретя такую жену. Но Константинополь переборчив, и мало кто из женихов считается достойным такого дара. Отец Зои, император, привередничал слишком долго — и в конце концов выбрал зятя, в котором более всего нуждался: столичного префекта, самого могущественного военачальника державы. Отдал ему дочь, сделал его своим наследником — и почил в Боге, считая, что исполнил свой долг перед империей.

Но жених был еще старше невесты. Как они ни тщились, Бог не дал им детей. Зоя считала, что в этом виноват муж. Она завела молодого любовника, а своего супруга велела умертвить. Вышла за фаворита, который был тридцатью годами моложе. Но и новый обитатель царицыной опочивальни не оплодотворил Зоино лона. День за днем я наблюдал картину, от которой хотелось перекреститься. Императрица молодела и свежела, а ее юный супруг, наоборот, терял красоту, жух и с неестественной быстротой старился... Казалось, она сосет из него соки и всё не может ими насытиться. В конце концов император умер, едва достигнув тридцатилетия.

Нынешний базилевс Константин, храни его Господь, стал третьим супругом прекрасной Зои. К тому времени ей сравнялось уже шестьдесят четыре года, но она не оставляла надежды ро-



дить наследника. Разочаровавшись в мужской силе Константина, она стала менять любовников, но и от них не было проку. Тогда бедная грешница возмечтала о том, чтобы понести от Иисуса... Обычную женщину за столь богохульственное устремление ждали бы суровые кары, однако кто бы посмел осудить императрицу? Зоя велела искуснейшим художникам изготовить икону Сына Божьего, разукрасила ее драгоценными камнями, умаслила благовониями и лобызала образ, орошала его слезами, гладила... Думаю, что в последнюю пору жизни царица тронулась рассудком. По правде сказать, ее кон-

чина для империи — большое облегчение. Но, как ты понимаешь, пресветлый принц, твоему великому родителю я этого говорить не стану...

Тонкий голос рассказчика был скорбен, но черные глаза посверкивали озорными искорками. Святослав же слушал, не тая улыбки. «Ай да епископ, — думал он. — Вот бы какого в митрополиты. А то посадит батюшка тоскливого схимника Иллариона — он заморит двор постами да молитвами».

— Не благословил, значит, Господь, старушкины чресла плодом? — засмеялся Святослав, радуясь, что можно шутить с архиереем. — По крайней мере, покойница обрела много приятности, стараючись.

Но грек не поддержал игривости. Он вдруг вновь обратился из балагура в пастыря. Непрост был епископ, ох непрост.

— Позволь, принц, поведать тебе одну притчу, которая повествует об истинном и ложном плодстве, а также о кажущемся и подлинном неплодии.

Искорки в глазах погасли. Вместо них засиял ровный строгий пламень.

— В некое время жил великий властитель. Всем прещедро одарил его Господь — и силой, и

славой, и богатством, а более всего повезло тому государю с мудрой и верной супругой. Однако не можно Всевышнему оставить ни единого из Своих рабов без испытания душевной крепости. Так же поступил Он и с этой августейшей парой. Всё им дал, но оставил без потомства. И сказала жена правителю через немалое время: «Если Господь чего-то лишает, то лишь для того, чтобы наградить лучшим. Раз нет у нас наследника природного, давай выберем в нашей державе достойнейшего из отроков, взрастим его, и будет он нам не хуже родного сына». Государь совета послушался. Кликнули клич по всему государству, чтобы везли во дворец самых сильных, умных, пригожих и добронравных мальчиков. Выбрали наипервейшего, нарекли принцем. Стал он расти — и делался всё лучше. Царственные родители, учителя, подданные глядели на чудесного отрока, не могли нарадоваться. Но нашептал Сатана царю ядоносное внушение: никогда-де чужая кровь не заменит родную, а что своих детей нет — в том вина жены, не мужа. «Возьми супругу новую, молодую, и будет у тебя сын природный, не приемный». Послушался государь лукавого. Верную супругу от себя отлучил, отправил в монастырь. Сам же сыграл свадьбу с девицей юной, телом крепкой. И — не

обманул Дьявол — в положенный срок принесла она здорового сына. Возликовал царь, объявил праздник на всю державу. Прежнего же наследника отправил на дальнюю границу, где тот зачах от болезни...

— Поди, отравили, — заметил Святослав, слушавший историю с интересом. Даже нравоучительные притчи у грека были не такие постные, как у пресвитера Иллариона.

— Очень возможно, — согласился Агафодор. — Многие искатели тщатся угадать тайные желания власти и подчас злодействуют по своему разумению в надежде на высочайшую благодарность... Но не о том сказ. Родной сын у государя вырос скверен. Алчен, порочен, жесток. Войдя в возраст, отца родного умертвил, сам на престол уселся, но править оказался не способен. Начался в стране голод, а после смута, и сгинула держава. Вот какую козню учинил злоковарный Сатана.

Князь немного подумал. Спросил:

— Эта притча — она к чему?

— К тому, пресветлый, что духовное первородство превышает телесного.

«Это он про то, что ромейская империя и без Зоиноного потомства не сгинет, — догадался Свя-

тослав, сделав благочестивую мину, под стать поучению. — Ишь, ловок языком кружева плести. Тонкоумен. Ну ничего. Поглядим, кто кого перекрутит. Я тебя, черноглазый, ныне вечером маленько помучаю, соли на подхвостницу посыплю...»

Вслух же сказал:

— Люб ты мне, мудрый отче. Вечером в твою честь устрою великий пир. Поглядишь, как в Вышгороде живут.

— У меня грамота к великому архонту от базилевса, — слегка нахмурился посол. — Когда я получу аудиенцию?

Князь свесился с седла, доверительно шепнул:

— Ты же не из-за грамоты приехал, верно? Я чай, хочешь с отцом по душам поговорить? А по душам на пиру, да под вино, оно лучше выйдет... Я друг тебе, потому и про пир надумал.

Повеселел грек.

— Ах, так вечером и государь пожалует? Это дело иное!

— Пожалует ли, нет ли, со всей верностью сказать не могу, — пожал плечами Святослав. — На всё его государева воля. Однако ж редко бывает, чтоб я устроил великий пир, а отец не пришел. Он веселье любит, а веселее моих пиров

нет. — И подмигнул. — Потолкуете без церемоний, всё обговорите. А парадная аудиенция обойдет.

Посол так и просиял, даже растроганную слезу смахнул.

— Тебя, принц Никола, мне Господь послал!

Великий пир, в отличие от пира большого, который мог быть устроен в любом из десяти дворов и подворий огромной резиденции, всегда проходил в главной горнице главного терема, где могли рассестся за столами не только бояре, но и старшая дружина, а посередине еще оставалось место для «игрищ» и «позорищ», то есть представлений.

Хоть Святослав Ярославич и сделал вид, будто придумал затеять празднество в честь константинопольского гостя лишь у самых стен Вышгорода, на самом деле подготовка к хлопотному действу длилась уже четвертый день — с тех пор, как с днепровских порогов прискакал посыльный, доложивший о появлении посольского корабля.

Высокое крыльцо покрыли зеленым сукном, по которому целый день вверх-вниз топала сотня воинов, чтоб ткань не выглядела слишком новой, прибитой специально для грека. В сенях

закопченные стены закрыли красным шелком, которого понадобилось до тысячи локтей. Пиршественную залу всю обили парчой. Такого расточительства не могли бы себе позволить ни восточный император, ни западный. В Вышгород золототканые шпалеры доставили из киевского дворца; туда и увезут, когда посол отбудет во свояси.

Полы повсюду очистили от мусора, помыли, на видных местах покрыли коврами, а где не хватило — натерли воском до яркого блеска. Ходить по этой скользкости следовало умеючи, поэтому медведей-дружинников провели в горницу заранее, и некоторые с превеликим грохотом падали. Но когда пресветлый князь ввел ромейского гостя, все уже сидели за столами и делали вид, что давно пируют.

По обе стороны от пустого Ярославова кресла разместились «старые» бояре — думцы. Дальше — бояре «молодые». Потом «мужи» — военачальники и самые именитые дружинники: что ни воин — настоящий богатырь. Всего приглашенных было до двух сотен, а слуг — коморников, свечегасов, подавальщиков, виночерпиев — вдвое больше.

Под невысокими расписными сводами висели медные люстры-хоросы, в каждой по четыре

дюжины толстых свечей. Столовое серебро — тяжелое, массивное, немецкой работы — переливалось отраженными огоньками.

— Садись, отче, у нас попросту, — показал князь на почетное место подле великокняжеского резного сидалища. — Встают, только когда батюшка пожалует, а так всяк угощается, свободные речи ведет. Не то что у вас, на кесаревых пирах.

Грек пострелял глазами туда-сюда: по лицам, по стенам, по пустой, устланной коврами площадке в центре горницы, по столам.

Угощения было немного: хлебы, корчаги с солью да кувшины с пивом. Это нарочно — чтобы дружинники раньше времени не намусорили, не испортили красоту. Пока все сидели чинно, щипали от караваев куски, обмакивали в солонки. Делали вид, что не очень-то и глазеют на византийского посла.

— Да, это мало похоже на пиры у базилевса, — снисходительно молвил Агафодор. — У нас сидят только патриции и вельможи, гости попросте стоят в нижней части залы. Много вина, разных кушаний. Ваша северная умеренность мне по сердцу, принц.

Тут Святослав подмигнул дворецкому, недвижно стоявшему у дальней двери. На безволо-

сом желтом лице распорядителя чуть приподнялась левая бровь — черная, густая. Полные руки, сложенные на груди, остались без движения, сочные губы не дрогнули.

В тот же миг узорчатые двери распахнулись, и подавалы, все в одинаковых малиновых рубашках, стали вносить первую смену блюд: лебедей, гусей и тетерок, которые были ошипаны, запечены, а после вновь утыканы перьями, так что смотрелись, будто живые. По горнице распространился аромат имбиря и шафрана — пряностей, доставляемых из невозможно далеких стран.

Дворецкий опустил левую бровь, поднял правую.

Виночерпии понесли хмельное: на почетный стол — сладкие вина и двадцатилетние меды, дружинникам — меды попроще да пиво-олуй, но кувшины были точно такие же, серебряные. Посол осторожно пригубил из чаши, почмокал губами, облизнулся.

— Прекрасное кипрское, — сказал он. — Сколько же его выпьют эти здоровяки?

Святослав небрежно пожал плечами. Драгоценного кипрского вина, покупаемого за золото, в великокняжеских погребах осталось всего три бочонка, но послу о том знать было незачем.

Пусть думает, что сим нектаром здесь поят всех, до последнего гостя.

— Не налегай на птицу, преосвященный, — добродушно посоветовал князь. — Не хватит желудка на главные блюда. Будет рыба, какой ты не видывал в Царьграде. Потом говядина со свиной. Телят и поросят для государева стола у нас холят больше, чем великокняжских сыновей. — Он засмеялся. — После подадут оленей и вепрей, лично добытых отцом. Не попробовать будет нельзя — обида. А к игрищам подадут сладкое с наливками.

— Что за игрища? — спросил грек. — Музыка?

— Нет, повеселее. Но коли желаешь музыки...

Князь поднял указательный палец, понятливый дворецкий потер одну пухлую ладонь о другую — из сеней, уже на ходу ударяя в бубны, дудя в свирели и сопели, засеменили игруны-музыканты. Песенники затянули старинную песню про вещего князя Олега, приколотившего свой щит на ворота Цареграда.

По лицу епископа скользнула тень. Святослав внутренне улыбнулся, подумал: «Прикидывается, что не знает по-нашему. Значит, верно в грамоте написано».

Опытный дворецкий увидел, что почетному гостю песня не нравится. Слегка качнул головой — и песенники умолкли. Теперь играли только гусельники со свирельщиками, мелодично и негромко, да чуть позвякивали бубенники с колокольниками.

— Мой любимый пляс. Старинный, варяжский. Пращуры плясали перед битвой. Эх, размять, что ли, кости, пока вином не упился?

Будто бы нехотя князь поднялся и вышел на середину. На самом-то деле всё было оговорено заранее, дворецкий уже нес меч со щитом. Самое время показать греку русскую удаль, а лучше Святослава танец с мечом не танцевал никто во всем Вышгороде.

Червлёный щит лег на пол. Музыка, поначалу медленная, заиграла быстрее, еще быстрее, еще. Ударили литавры.

С кажущейся легкостью, вроде бы едва двигая запястьем, князь рассекал воздух длинным клинком. Обнаженный меч выписывал замысловатые узоры. Ноги в зеленом сафьяне ловко переступали близ самой кромки щита, перепрыгивали через него — и ни разу не коснулись.

Дружинники стали колотить по столу чашами и черенками ножей в такт пляске. Святослав

знал, что хорош, что им любят — и смотрел только вверх, на сверкающий булат. Он мог танцевать так долго. Дыхание от пляски делалось глубоким, выравнивалось и больше не сбивалось. В том и заключался смысл древнего боевого упражнения.

Агафодор же, некоторое время понаблюдав за пляшущим князем, озабоченно покосился на пустое кресло во главе стола и перевел взгляд на распорядителя пира. Тот, казалось, смотрел только на Святослава, однако же немедленно повернулся к послу. На желтом лице появилось учтиво-вопросительное выражение — и стоило епископу чуть кивнуть, как дворецкий тронулся с места.

Плавнo приблизился, поклонился, спросил по-гречески:

— Что благоугодно твоему преосвященству?

— Я так и думал, что ты ромей, — ласково улыбнулся епископ. — Уверен также, что ты служил в знатном столичном доме. Может быть, даже при дворе. Чувствуется выучка наивысшего разряда.

— Ты угадал, господин. — Дворецкий поглядывал то на собеседника, то на увлеченного танцем князя. — Я познал тайны ремесла в Большом

кесаревом дворце, где достиг должности младшего помощника главы ведомства приемов. Выше мне было не подняться из-за низменности моего происхождения. Поэтому, когда меня позвали в Киев на место главного дворецкого и посулили жалованье вчетверо выше прежнего, я согласился.

— Ты поступил разумно. К тому же ромей всегда останется ромеем, где бы он ни жил. Как твое имя?

— Здесь меня называют Кут, «черный кот». Это из-за цвета волос, редкого у русов. Крестильное мое имя Деметрос, но я за него не держусь. Оно ведь означает «Посвященный Деметре», богине плодородия, а я, как ты понимаешь, евнух. Иначе кто бы взял меня на службу в императорский дворец? Меня «обелили» в раннем детстве, я этого даже не помню.

— Мы с тобой братья по судьбе, — вздохнул Агафодор. — Но тебе повезло больше. Меня оскостили пятнадцатилетним, и тот день до сих пор иногда мне снится. Я просыпаюсь в слезах, с криком. Приходи ко мне исповедаться на родном языке, Деметрос. Я пробуду здесь какое-то время.

— Благодарю, твое преосвященство.

Кут поцеловал епископу руку.

— Скажи, как устроены такие пиры? Что будет дальше?

— Когда гости наедятся, напьются и станут шуметь, я подам знак вон тому тощему человеку. — Дворецкий двинул подбородком, показывая на дальнюю дверь. Там, странно раскорячась, стоял очень худой человек в разноцветной островерхой шапке. — Это Костей, старший над играющими. Он выпустит своих шутов, шутих, уродов, и они устроят представление.

— А великий архонт? Разве он не придет? — быстро спросил посол, видя, что танец заканчивается.

Но дворецкий уже спешил к своему господину — принять меч и забрать щит, так что вопрос остался без ответа.

Вернувшись, Святослав не подал виду, что заметил, как византиец шепчется с дворецким. Принял из рук посла чашу вина, с наслаждением выпил половину, а потом, как предписывал ромейский этикет, вернул угощающему — чтобы тот осушил кубок до дна.

— Удостоит ли нас посещением великий архонт? — спросил епископ, вытерев губы.

Князь понял: Кут ему ничего не сказал.



— А как же, обязательно. Уж и весточку прислал. Ты угощайся, отче. Эту белую рыбу ловят в дальних северных реках и привозят сюда живую в огромных корытах. Но сначала выпьем. Теперь моя очередь попотчевать тебя вином...

Однако великий князь Ярослав не появился и час спустя, когда подали сладкое и началось представление.

Сначала гостей потешил костлявый старшина шутов. Он ходил по зале, и его длинные ноги

сгибались в коленях то вперед, то назад, то вбок. От этого вся нелепая фигура Костя вихлялась и дергалась, а сам он корчил уморительные рожи: натягивал нижнюю губу на кончик хрящеватого носа, лизал длиннющим языком подбородок, вращал в разные стороны выпученными глазами. Зрители смеялись, хлопали в ладоши.

Потом, под всеобщий хохот, прошлись, взявшись за руки, человек-шар (низенький и неправдоподобно толстый) с человеком-оглоблей (этот был еще хуже Костя и на две головы выше).

Дальше гурьбой выкатились карлики, горбуны, бородатая баба, семипалый мальчуган, девка с длинным, свернутым набок носом — множество самых разных уродов и уродцев, и всяк начал кривляться на свой лад.

Святослав горделиво покосился на посла: вон как у нас — богато.

Хороший выродок, на кого смешно поглядеть, стоил очень дорого. Таких выискивали по дальним краям особые торговцы, привозили к щедрым государям, требовали высокую плату. Чем больше потешных калек, тем пышнее двор. В Вышгороде на Убогом подворье проживало до тридцати уродов обоего пола.

Более всего зрителей распотешила одна горбунья. Ростом она была всего с полтора аршина,



а горбов имела два: один сзади, другой спереди. Однако шустрая, ловкая. То мячом по полу прокатится, то товарку под зад лягнет, то вдруг затеет карлику волосья трепать. Он орет, слезы из глаз, а горбунья ему еще и по носу кулаком — красная юшка брызгами в стороны.

За прыть ушлой бабе кидали со столов куски медовых ковриг, маковых пирогов, заморского сахара. Она подпрыгивала, по-собачьи ухватывала объедки зубами на лету, пихала за пазуху — будто в горб прятала.

— Отвратительная тварь, — смеясь, сказал Агафодор. — Ну и морда! Такую безобразную можно бы и без горба показывать. Так что государь? Время к ночи...

Мельком поглядев на Кута, князь наклонил голову.

Дворецкий вдруг рявкнул зычным голосом — качнулись свечные огни:

— Государь великий князь Ярослав Владимирович!

Загрохотали скамьи. Все поднялись.

Прикусив губу, чтобы не расползлась в улыбке, Святослав исподтишка наблюдал за Агафодором. Тот приосанился, расправил рясу, быстро потер посольскую цепь, чтобы ярче сияла. Лицу

придал выражение величия и почтительности — непростое сочетание.

Чеканно ступая, в горницу вошел гигант, неся перед собой обнаженный меч. Это был отрок-меченоша. Неспешно обогнул длинный стол, поклонился пустому креслу, уложил меч поперек подлокотников. Еще раз нагнулся в торжественном поклоне. Повернулся и так же медленно вышел.

Все снова сели и как ни в чем не бывало продолжили трапезу. Шуты и шутихи, притихшие во время церемонии вноса меча, снова принялись дурачиться.

Стоять остался один Агафодор.

— А... а где архонт?

С серьезным видом Святослав развел руками.

— Видишь — меч прислал заместо себя. Это великая тебе честь как кесареву посланнику. Где меч великого князя — это все равно как если бы он сам пожаловал.

И тут все же не удержался, больно много было выпито вина — прыснул. Очень уж смешно захолопал грек глазами.

А Святослав вошел в кураж, ему хотелось еще поиграться с византийцем. Велел ведь отец сбить с посла спесь.

— Устал я, отче, на твоём языке говорить, — вдруг перешел князь на русский. — Ты же по-нашему понимаешь, не таись. Знаем, что ты долго служил в Болгарии у тамошнего архиепископа.

Агафодор, еще не оправившийся от предыдущего потрясения, опять замигал.

— А коли так, ответь мне на ектlesiастический вопрос... — Святослав принял глубокомысленный вид. — Объясни, как это по-церковному, по-патриаршьи выходит, что у Болгарии, которая лишь одна из византийских провинций, есть право выбирать себе предстоятеля, а нам, Руси, которая никому не подвластна, вы того позволить не желаете? Мы, однако ж, не болгары. Нас вы не завоевали и не завоюете.

Не готовый к такому разговору, грек почернел. А подвыпившего князя несло дальше.

— Думал я про притчу, которую ты мне давеча рассказал. О плодности и неплодии. И знаешь, что я тебе скажу? Такие сказки сочиняют лишь те, кто немощен и слаб. Чем еще вам, ромеям, остается тешиться кроме духовного оплодотворения, раз на обыкновенное, вот этакое, — Святослав сделал непристойный жест, — вы более негодны по дряхлости. Ты, преосвященный, посмеивался над тщаниями престарелой Зои произвести потомство. Но не такова ли и вся ваша

держава? Истинная сила, отче, в живородительности. У вас ее нет, а у нас есть. Мы кого хотим — берем, не спрашиваем. Поворачиваем, как нам охота, и оплодотворяем. Потому что ныне наше время, наша молодость, наша власть.

Князю нравилось, как он говорит — дерзко, веско, мощно. Нравилось, как ежится от этих слов посол. Святослав был в той поре опьянения, когда человек делается удалым и беззаботным, море по колено.

— Гляди сам. Разве есть сыновья у нынешнего базилевса? Одни только дочери. А у моего отца нас шестеро. У брата Владимира уже есть наследник, у брата Изяслава — двое. Я полгода как женился, будет сын и у меня. В этом суть. — Он снова сделал похабное движение рукой — приятно было соромничать при духовной особе. — Прочее же — дым и химеры. Кто может мир, как бабу, под себя подмять и семенем своим удобрить, тот и царь. А кто слаб, тот — пффф. — Князь издал губами неприятный звук.

Ждал, что грек выйдет из себя, раскипятится, замашет руками, возвысит свой тонкий голос — потеряет лицо перед боярами и дружиной. Епископ хоть зло посверкивал глазами и длинная белая борода скосилась на сторону, однако выдержки не терял. Ответил увещательно, добродушно:

— Так-то оно так, принц Никола. Сила молодости хороша, кто спорит. Однако недальновиден зодчий, кто возводит здание на одном лишь этом непрочном фундаменте. Молодость скоро проходит — что у человека, что у державы. И кто не сумел от силы чресел возрасти к силе воли и духа, тот вскоре усохнет. Тому же, кто полагается не на животный пыл, а на мудрость и дух, суждено долгое процветание.

«Знать, мало я тебя разозлил, — подумал князь. — Надо подбавить».

— Тебе про дух виднее, преосвященный, — ухмыльнулся он. — Ибо силы чресляной у тебя, скопца, быть не может. Борода-то накладная скособочилась, поправить бы.

Глаза Агафодора гневно сузились, обожгли собеседника.

— Вот он, огонь греческий, — засмеялся Святослав. — Сейчас пламенем запылаю.

Но епископ вдруг присоединился к смеху — звонко, заливисто.

— Любуюсь я тобой, пресветлый княже, — сказал он, и огоньки загорелись ярче. — Молод ты, пригож, силен. А только сомнительно мне, так ли уж велика твоя мужская сила? Верно ль, что ты можешь кого угодно, любую женщину, подмять да оплодотворить?

— Могу, могу, не сомневайся, — ответил Святослав, не понимая, к чему клонит грек.

— Так-таки любую? Прости, не поверю.

Князю стало весело:

— Об заклад желаешь биться?

— Что ж, хоть азартное состязательство и грех, но не столь уж тяжкий... — Посол поднял руку. На пальце сверкал перстень с большим лалом. — Можно и об заклад. По-дружески, как условились. Если ты бабу, на какую укажу, взять сумеешь, не оплошаешь — кольцо твое будет. А устроишься, откажешься — тогда исполнишь любую мою просьбу, о чем бы я ни попросил. Поклянешься в том Именем Божиим и своей княжеской честью.

— Как это — «любую просьбу»? — удивился князь. — Мало ль, о чем ты попросишь?

— Чего тебе страшиться, такому лихому жеребцу? Неужто испугался? А как хвастал!

Агафодор был доволен — думал, что поймал. Не тут-то было.

— Давай свою бабу. — Святослав оскалился. — Любую. Хоть ведьму лесную, хоть русалу болотную. Был бы женский снаряд. Когда рядиться будем?

— Да прямо сейчас. Вон она, моя лошадка, на какую перстень ставлю. — Агафодор показал на

жуткую горбунью — та стояла на четвереньках, грызла баранью кость, изображала собаку. — Одолеешь сию гидру?

Поглядел князь на уродку, только плечом дернул. Кольцо с лалом — пустяк, на что оно? А вот показать скопцу ромейскому, что такое настоящее мужество — это будет ладно. Горбунья так горбунья. Даже интересно.

Он поманил дворецкого.

— Как вон ту, горбатую, звать?

Кут подумал, ответил не сразу:

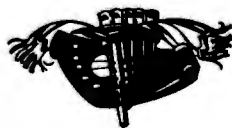
— Кажется, Кикиморой.

— Отведи-ка ее в шубную. Ждите там...

Святослав повернулся к послу, налил в чашу еще вина.

— Пойдем, преосвященный. Покажу тебе шубную камору, где у нас с зимы соболя-куницы хранятся. А заодно узришь, какова она — русская сила.

И подмигнул.





ЖИВКА

Ночью, неслышно семена через холодные сени в нужный чулан, Живка опять его видела. Егория Утрина.

Как в прежние разы, отрок просочился через стену и замер. Перед собою обеими руками держал голову. Была она страшна, но в то же время прекрасна. Цвет лица бело-матов, вежды скорбно сомкнуты, алый рот приоткрыт.

Живка так напугалась, что обмочилась под своей длинной рубашкой. Но крикнуть не крикнула. Не было у нее привычки кричать, даже когда было очень страшно или очень больно. Жизнь приучила всегда быть тихой. Когда тебя не слышно и не видно, целее будешь. Иногда мечталось о шапке-невидимке. Чтобы самой быть, но чтоб никто не знал, что ты есть.

Чего она так мертвого угрина боялась, она и сама не знала. Никогда он ей злого не делал, не то что живые люди. Покажется, да через короткое время растает. Молча.

К тому ж известно: не за ней он сюда, на Убогое подворье, является. Это сейчас оно убогое, для самых распоследних челядинцев великокняжеского обихода, потешных калек-игрецов, а в прошлые времена, при Владимире Красно Солнышко, здесь был важный терем и держали в нем с почетом, но под крепкой стражей мятежного княжича Святополка Владимировича. Давно это было, лет тридцать или, может, сорок назад, но старые старушки помнят. Рассказывают, что молодой князь ласков был, речами тих, ступал по горницам мягко, будто кот. Умел всякому человеку в душу влезть. И окрутил своих тюремщиков, вышгородских бояр, склонил посулами и умильными словами на свою сторону.

Когда князь Владимир представился, здешние бояре объявили Святополка великим князем, а его меньших братьев, Бориса и Глеба, злодейским образом умертвили. Егорий этот, отрок угорской крови, при Борисе служил и до последнего издыхания за своего господина бился. За это враги его мечами-копьями пронзили, а голо-

пу с плеч срезали уже мертвому, чтобы снять с шеи златую гривну.

Вот зачем он, угрин, сюда ходит. Ищет Святополка, желает спросить: где, мол, брат твой, а мой господин? И невдомек бедному, что окаянного Святополка здесь давно нету, сгинул в бегах, в чужих краях, невесть где, а князь Борис погребен в вышгородском храме. Разве сыщешь, кого тебе надобно, если голова с плеч снята и очи затворены?

В этот раз Живка, хоть и в мокрой рубашке, хоть и трепетно, но все же успела шепнуть: «В Васильевскую церковь ступай. Борис ныне там!» Но Егорий Угрин растаял, и слышал ли, нет — Бог весть.

Идти в нужник теперь было незачем. Вместо этого побежала Живка в морозные сени, где бадья с водой. Разбила локтем ледок, замыла рубашку. Не то утром заметит Радуша, над служанками старшая, будет бранить, за волосы таскать, башкой об стену бить.

Дрожа от холода, бесшумно вернулась в большую ложницу, где спали все бабы, девки и девчонки Убогого подворья: кто постарее на печи, другие на сундуках и лавках, а некоторые так на полу.

Вдохнув густой от людского множества и печной топки воздух, Живка забралась на свое место — под лавкой, на которой лежала Кикимора. Мокрая рубаха липла к телу, мерещился безголовый отрок, да еще горбунья наверху всё ворочалась, скрипела, во сне постанывала. Поди-ка, усни. А еще так есть хочется...

Живку продали князьему тиуну позапрошлой осенью, когда девчонка подросла настолько, чтоб работать. Год был насытый, впереди сулилась тощая зима и страшная весна, которую то ли переживешь, то ли нет. Маманя, прощаясь навек, сказала: «Голодовать не будешь».

Голодать Живка не голодала, но и досыта не ела. Во всем огромном дворцовом хозяйстве, где по теремам, дворам, житницам, погребам, кухням, медушам, баням, прачешным, кузням, конюшням, скотням трудилась и кормилась тыща народу, ее место было из последних последнее: прислуживать уродам с Убогого подворья. Своей миски с ложкой, и тех Живке не полагалось. Тут кусок кинут, там краюху подберет — тем и перебивалась. Но, конечно, всё равно сытней, чем в деревне. Еды кругом было много, если глядеть остро и страха не иметь — только тщи. Но Живке смелости не хватало. Да и мала еще была, девятый год всего.

Только-только стала засыпать, перед закрытыми глазами начали кружить предсонные видения — горбунья как вскрикнет. Что ж ей, злыдне, спокойно не лежится? И всё ворочается, ворочается. Сама тяжелая, грузная, будто кадушка. Ишь, разожралась. Раньше скамья под ее тушей так не провисала. Скрипит-скрипит, кряхтит-кряхтит, стонет-стонет. Десять раз за ночь разбудит. А попробуй-ка саму ее потревожь. Свесится — и кулаком. Кулак у горбуни каменный.

Злее Кикиморы не сыскать существа на всем свете. Нету в ней ничего человеческого. Люди — они злые, когда на то причина есть или какая выгода. Но Кикиморе ни причины, ни выгоды не нужно. Она пакости просто так творит, для удовольствия. Вот ведь создал Господь чудищу — что снаружи, что внутри.

Недавно показалось горбунье, будто Шикашераздатчик ей в миску мало хлёбова положил. Зашипела, заругалась, а ему, бедовому, хоть бы что. Не дал добавки. Кикимора губищами зашевелила, левый глаз сощурила, правый выпучила, лоб морщинами собрала. А посередь лба у ней черное пятно, круглое. Бабы шепчутся — это в нее дьявол-сатана своею черной слюной плюнул. Оттого горбунья и родилась из злыдней злыдня. Плевка этого дьяволова Живка больше

всего боялась. А Шика на подворье новый был, не знал, что Кикимору страшиться надо.

Назавтра Костей, всему Убогому подворью начальник, из своей миски дохлую мышу зачерпнул. Ну и взъярился. Повалил Шика, да сапогами по ребрам, да плеткой, да кочергой. А Кикимора смеется, черное пятно на лбу так и прыгает. Она, ведьма, наворожила, не иначе.

Или вот еще рассказывали бабы, Живка подслушала. До Костея, печенег колченогого, которого наши когда в плен брали, то жилы подколенные урезали, был на подворье другой старшой — Зосем, знатный шутейник. Не любил он Кикимору, ругательски ругал, даже бил. И что же? Угорел в своей каморе. Отдушку в печи сажей забило, и угорел до смерти. Вон оно как, с Кикиморой враждовать. Уж Костей до чего грозен, а горбунью не трогает.

Мимо нее Живка всегда вьюном проскакивала. Чуть замешкаешь — ударит или ущипнет. Просто так, ни за что. Вчера вот бежала Живка в сени, пол мести, да в узком проходе, пробегая мимо Кикиморы, задела ее боком. Не виновата была нисколько — горбунья сама брюхо такое наела, будто третий горб себе отрастила. И главное, зацепила-то совсем чуть-чуть. А Кикимора как заорет, словно режут ее. И кулаком по носу.

Дальше Живка бежала, ловя ладонью кровавые капли. Не дай бог рубаху или напольные доски испачкать!

Горбунья с тяжким вздохом снова повернулась, свесилась безвольно упавшая рука. Короткие сильные пальцы то сжимались, то разжимались, будто ведьма и во сне желала схватить кого-то и терзать, мучить.

А еще на пол с глухим стуком упало мягкое, круглое, откатилось. Живка не столько разглядела, сколько унюхала чутким на съестное носом запах сладкого. Высунулась из-под лавки — так и есть! Это были слипшиеся в ком сласти: кус сотового меда, полпряника, орехи, осколки сахара и несколько фиников — заморских ягод. Живка раз подобрала финиковую косточку, долго сосала. Вкусно!

Вот давеча подумалось, что в Кикиморе совсем ничего человеческого нет. Ан есть. Она, как и Живка, больше всего на свете сладкое любит. Вечно что-нибудь грызет, сосет, лижет. Ей, шутихе, хорошо. На каждом пиру накидают со столов, всегда есть чем полакомиться. А Живке редко когда везло тайком меду лизнуть, или с полу сахарного крошева облизнувшись пальцем подобрать. А тут — финики, полпряника, орехи!



Съесть — и будь что будет.

Какое-то время лежала, не решалась. Протянет руку — уберет. После сказала себе: не догадает Кикимора. На кого другого подумает. Не на тихую сироту, которая тише воды, ниже травы.

А она и не крала. Само упало. Будто дар Божий, с неба.

Цапнула липкий ком, поднесла ко рту, лизнула. И так стало сахарно, что теперь никакой силой добычу было не отобрать.

Жевать под скамьей, однако, было нельзя. Горбунья спит беспокойно. Может чавк услышать. Тогда беда.

И жалко портить праздник, какого во всю жизнь еще не случилось. Не давиться, а посластиться от души. С чувством, медленно.

В затайку надо забраться, вот что. Там никто не помеха.

Было у Живки одно заветное место, про которое никто знать не знал. Затайку эту нашла она случайно. Мела пол в нижнем жилье, где раньше, в княжьи времена, были кухонные службы, а ныне запустение, и увидела, что на дверце одного чуланчика проржавел замок. Заглянула. Думала, может, сухари старые найдет или еще что. Ничего в малой, пылью пропахшей клетушке не было. Но доски снизу рассохлись. Потянула — раздвинулись. А там подпол. Темно, тихо. И видно, что много-много лет, может, с самого изначала, никто туда не заглядывал.

С тех пор всякий раз, когда выдавалось хоть сколько времени, Живка залезала в свое убежище. Единственный закут на всей земле, где никто не обидит, не тронет, не погонит работать. Сидишь на голой земле. Мечтаешь или подглядываешь в щель между бревнами, что на дворе делается. Всех видишь, а тебя никто. Чем не шапка-невидимка? Пошуршивают мыши. Сверху, от жарких печей, тепло идет. Хорошо.

Вот где надо пир устроить.

Бесшумно, подбрав выше колен мокрую рубаху, чтоб не шелестела, она выбралась из ложницы. Прошлепала темным переходом к лестнице, сбежала вниз и скоро уж была в затайке.

Расположилась у самой стены, где через щель хоть и задувало холодом, зато проникало немножко света. Во дворе светила луна, а еще недалеко горел костер. Там грелись ночные стражники. Орали что-то, реготали. Чего им тишиться? Отсюда до княжьих хором далёко, не услышат. Сквозь густые мужские голоса провизгивались и тонкие, бабьи. Это девки-срамухи. Их в Вышгороде много, от дружинников и слуг кормятся.

Живка разлепила сласти, разложила с толком: сначала лесные орехи, потом грецкий, потом мед, потом сахар, потом пряник, а два финика — на самый конец. Не торопилась, предвкушала. Понюхала пальцы. Уже от этого сделалось празднично.

Наконец приступила. Лизнет или мelenько откусит — и пождет, пока сладость до души дойдет. Сама в это время мечтала, тоже о сладостном.

Вот бы срамухой стать. Хорошее житье! Работу работать не надо. Знай подол задирай да похатывай. А за это тебе и меду принесут, и плодов разных, и сахару — сколько захочешь.

Но это еще дожить нужно. Раньше, чем лет в двенадцать, красоту не наростишь. Нужно чтобы и спереди всё круглое, и сзади, и щеки яблоками. Откуда оно возьмется, круглое, на таких-то харчах?

Надо сначала на кухню прибиться, хоть половой. Там всегда сыта будешь. Еще бы лучше в княжьем тереме служить. Кто в трапезной после пиров убирает — мешками объедки выносят. Есть такие люди, кто со стола медовую ковригу уронят, и ту подобрать ленятся.

А как в возраст и в тело войдешь, как перестанут тумачи давать и начнут пощипывать да оглаживать — тут можно и на вольное житье податься. Срамухи при великокняжеском дворе всегда нужны.

Что такое вольное житье, представляла Живка неотчетливо, но от этих слов делалось радостно. Никто тебе не указ, сама себе хозяйка. Хочешь — спи, хочешь — весь день косу плети. А то еще можно взять и в стольный град Киев пойти, на чудеса поглядеть. До него всего шестнадцать верст ходу, а из Убогого подворья никто кроме Костея-печенег того Киева отродясь не видывал.

Когда закончились орехи и настало время меда, наверху вдруг закрипело, закачались трухлявые доски. Кто-то вошел в чуланчик, кто-то

тяжело переступал почти что над самой Живкой. Она застыла от страха. Но ужасное еще только начиналось.

Доски хрустнули, поднялись. В дыру свесились толстые короткие ноги.

Наземь полуспрыгнула-полусвалилась шарообразная туша. Вскрикнул знакомый сиплый голос.

Кикимора!

Откуда прознала?!

До полусмерти забьет!

Но тут Живка поняла, что горбунья ее не видит. С криканием и стоном Кикимора доковыляла в дальний угол подполья, плюхнулась там, раскорячилась.

Ни жива ни мертва девочка прижалась к бревнам.

Она поняла: сейчас, здесь, в глухой ночи, в темном подвале, злая ведьма будет творить свое черное ведьмачье колдовство.

Так и вышло.

Кикимора утробно взывала, рывком задрала юбку до пояса. В темноте забелело голое тело.

Не стерпев такого ужаса, Живка ойкнула, закрыла глаза руками.

— Кто тут? — страшно прохрипела колдунья и повернулась, встала на четвереньки. — Ты?.. Ты? Сведала? Слазутничала?

И поползла, быстро перебирая руками и ногами — широкая, бугристая, будто тварь-черепаха, которую Живка раз видела в княжьем зверинце.

Девочка и не попыталась отбежать. Обессиленно села на землю и лишь икала.

Своими цепкими пальцами горбунья схватила тонкую шейку, крепко сжала и уже не отпустила.

Меркнувшим взором Живка увидела, как из-за плеча ведьмы выплывает Егорий Угрин. Отсеченную главу он возложил себе на плечи, и от нее исходило блаженное сияние.

«Это ничего, — прошептал прекрасный отрок одними губами. — Это так надо. Будем теперь вдвоем по терему ходить. Вместе оно лучше».





КИКИМОРА

Она яростно рыла неподатливую, плотно слежавшуюся, а снизу еще и промерзшую землю скребком. Утроба торопила, подталкивала: спеши!

— Погодь, погодь, — отвечала утробе горбунья.

С людьми она разговаривала мало и редко, отрывисто. Только по необходимости или чтоб пригрозить. А с собой — почти беспрестанно. Со стороны казалось — губы жует или бубукает, а это она сама с собою разговор вела. Все равно на свете больше не с кем.

Кикимора не знала, почему нужно сначала девочку закопать. То есть что надо ее зарыть, и поглубже, не то засмердит — это-то ясно. И яму рыть она придумала заранее, потому и скребок взяла. Но можно бы ведь и после, когда закон-

чится? Что за разница? Однако надо было сейчас. Допрежь.

Нельзя, чтобы рядом мертвая, когда начнется. Почему — неизвестно. Но только нельзя.

Откуда Живка эта вертлявая здесь взялась, ночью? Кикимора сама обнаружила укромное, дальнейшее место недавно, по случаю.

Все-таки не совсем по случаю.

Когда червь, что глодал ее изнутри, сосал соки и разбухал, принялся шевелиться да толкаться, горбунья поняла: скоро. Надо щель искать. Чтобы опростаться — и никто ни сном ни духом, а концы в землю.

Дура она, конечно. Ведать не ведала, о чем всякая баба и даже девка знает. Потому что никогда не числила себя ни девкой, ни бабой. Будто одна она такая под небом: не мужчина, не женщина, а некто. Шутки срамные на игрищах шутила, а в чем их смысл, не понимала. И не интересовалась никогда, как там у мужиков с бабами и что.

В прошлом мае, девять месяцев тому, молодой князь Святослав Ярославич спяну велел стать гузном кверху и не шевелиться. Она думала — наказание или глум какой. Зубы сжала, потерпела. Не очень-то и больно было. Даже не

раззлوبيлась. Как станешь злобиться? Ведь не кто-нибудь, великого государя сын.

Потом позабыла. Стало чрево расти — не скоро затревожилась. Думала, от сытой жизни на жир повело.

А когда сообразила, что с ней, травить плод было уже поздно. Хитростью, уловками всякими понемногу узнала, как они, женские труды, производятся. Но правды никому не сказала, ни одной душе. Все вокруг враги, все ненавидят. Почуют, что ослабела — тут тебе и конец.

Надо быть сильной. Кто сильнее тебя — от тех подальше держаться. Прочих стращать, чтоб боялись. Этим только и жива будешь.

Остальные смерти боятся, но верят, что будет у них и другая жизнь, настоящая, у Христа за пазухой. Кикиморе на то надежды нет, потому что некрещеная. Отец-мать пожалели ради калеки на попа тратиться. Если бы не бабушка, придушили бы новорожденной. На кой лишний рот кормить?

Но и бабка пожалела не от доброты (слышала Кикимора, что будто бы есть какая-то такая доброта, а только брехня это). В молодости бабка жила в городе Киеве да в Вышгороде, портомоей при великокняжьем дворе. Много повидала, ума набрала. Знала, что за горбунью можно хорошую плату получить. Потому уродку и выкор-

мили. Потом продали за две гривны серебром, купили пахотную лошадь и тельную корову.

Одно доброе слово Кикимора в своей жизни все-таки слышала. Бабушка на прощанье сказала: «Отцу-матери пособила, теперь одного тебе, Молчуха, пожелаю. Помри скорей».

Молчухой ее в семье звали. Она маленькой никогда не пищала, не плакала.

— Не помру. Шиш вам всем, — ответила Кикимора на бабкино пожелание.

Десять лет ей было, а ненавидеть она уже хорошо умела. Не кого-то, а сразу всех. И всё. Весь белый свет.

Он, белый свет, был ей враг, с самого рождения. Лютый. Никогда не давал поблажки. Хотел Молчуху-Кикимору раздавить, извести.

Вот, кажется, что за радость такая жизнь? Зачем за нее цепляться? А не для радости это. Ради того самого шиша. Шиш тебе, белый свет. Хочешь меня согнуть? Я и так согнутая. Хочешь уничтожить? Не выйдет. Всех переживу. Через камень прорасту, как трава-сорняк. А кто будет мешать — берегись.

Что-что, а не давать себя в обиду она хорошо умела.

Кто Кикимору сильно обижал, того среди живых уже не было. Старый шутейник Зосем,

мучитель и гонитель, задохся в угаре. Всего и надо было, что тряпицей дымоход заткнуть, а на-завтра, засветло, пока все спят, обратно вынуть. Никто не догадался, на скопившуюся сажу подумали.

И еще дважды после того Кикимора обидчиков на тот свет спраживала. Не ради жизни облегчения, как с Зосемом, а чтоб сердце потешить.

Как-то на дворе караульный ударил древком копья по горбу. Просто так, со скуки. Удар был сильный. Она упала, и все хохотали. На спине потом длинный багровый синяк был.

Ладно.

Полгода она за тем караульным приглядывала. И дождалась-таки. Шел он пьяный, еле ноги волочил. Поскользнулся, бух в лужу. Локтями опирается, башкой мотает, а встать не может.

Кикимора огляделась — нет никого. Подбежала, навалилась сверху и мордой, мордой в жидкую грязь. Так, захлебнувшегося, и оставила. Все решили — упал человек с хмельной дури, бывает.

И еще было. Появилась на кухне девка новая, из Берестовского дворца прислали, потому что умела какие-то особенные маково-медовые коржи печь, которые великий князь любит. И все ту

девку полюбили, нахвалиться не могли. И красива, и со всеми мила, и труженица, и песенница.

Ничем она Кикимору не обижала. Разве что своим существованием. Смотрела на нее горбунья и ощущала в груди болезненное kloкoтaниe. Потому что у той — всё, а у тебя — ничего. И стерпеть такое мочи не было.

Месяца два так промучилась. Потом сделала себе облегчение. На Рождество, в темноте, когда та девка ведро в колодец спускала, ударила ее камнем по затылку и столкнула вниз. Все подумали — утопилась, от сердечной сухотки руки на себя наложила. Про молодых и красивых всегда так думают.

Девчонку-пролазу, Живку эту, Кикимора придушила без колебаний. Не хватало еще, чтоб на песь двор разнесла, как горбатая в подполе рожала. Куда после этого дитё денешь? А так — скинуть, придавить, да в ту же яму. Заодно...

Как ни спешила горбунья, но ребенок торопился пуще. Будто знал, что выйдет на свет ненадолго, и хотел поскорее попасть туда, где обитают невинно убиенные младенческие души.

Кикимора охнула, сотрясаясь от судорог. Сунула в рот горсть земли, чтоб не заорать. Подавилась, но управилась-таки без крика. Быстро.

Лишь в самый последний миг, когда казалось, что сейчас вся напололам треснет, и вдруг наступило облегчение, — сомлела, перестала видеть и слышать.

Пришла в себя не скоро. Сквозь щели просачивалось нераннее зимнее солнце. Но Кикимора очнулась не от света, а от звука. Кто-то тоненько пищал, совсем близко.

Она приподнялась и увидела в луче, пронизывающем подвальную тьму, младенческое личико. Личико было золотым.

Кикимора недоверчиво дотронулась до головки пальцем — и палец тоже зазолотился, а ребенок зевнул и умолк.

Испуганно отдернув руку, горбунья долго смотрела на новорожденного. Прикончить его, слабого, было просто, но она об этом не думала. Просто смотрела, и всё.

Вспомнила, что бабы говорили о пуповине. Нашла ее, перегрызла. Увидела, что тельце перепачкано кровью — стала его вылизывать, как это делала со щенками сука. Трогать языком крошечное, теплое было приятно.

Младенец открыл ротик, запищал — но не жалобно, а сердито. И громко.

Не услышат ли? Кикимора тревожно посмотрела на потолок.



— Молчи, молчи!

Он закричал громче.

Прибить? Самое время.

Но вместо этого — получилось само, безмысленно — достала грудь и заткнула ротик соском. Зачмокал. Кикимора же замерла от несказанной сладости. Даже когда, бывало, засовывала за щеки разом два куска сахара, и то не было так сладко.

Поев, ребенок тихо засопел.

Пряник мой сладкий, думала Кикимора, глядя на круглый лобик. Сидеть бы так вечно. И больше ничегошеньки не надо.

Но во дворе, близко, заржал конь, и она встрепенулась. Поздно уже! Все давно поднялись! Искать горбунью не станут, кому она сдалась, но выходить-то все одно придется. И что тогда?

— Что делать? Что делать? — по привычке забубнила Кикимора под нос, беспокойно завертелась.

Как быть с Золотиком? И еще ведь Живка...
А вот как.

Девчонку раздела догола. Та была холодная, тощая. Лягуха, и только. Из рубашонки соорудила люльку. Подвесила к потолку, устроила дитя-тю. Чтоб подвальные крысы не покусали сладенького.

Труп — легкий, будто хворостинка — сунула в недорытую яму, присыпала землей. Поверху еще нагребла кучу трухи, всякого мусора. Сойдет и так. Кто сюда полезет?

Теперь вернуться в терем. Дотерпеть дотемна, виду не показывать. К ночи вернуться сюда. А выйдет улучшить малый час, так и днем завернуть ненадолго. Полюбоваться на чудо, молоком покормить.

Ночью же, когда все уснут, забрать Золотика и унести прочь, в город.

В надежном местечке, на заднем дворе, у Кикиморы был тайник. В тайнике — короб. В коробе — нажитое. Было там серебришко, было и зо-

лото. Иногда на пиру кто монету кинет. Бывало, у пьяного с шеи гривну снимала. Один раз в большом тереме нашла золотую пряжку, не иначе с боярского, а то и с княжьего корзна.

Зачем копила, сама не знала. На Убогом подворье серебро-золото ни к чему. Убежать некуда. Куда пойдешь, куда денешься? И найдут ведь, с горбом не спрячешься. А все-таки копила. Будто знала, что понадобится.

Пристроить Золотика неподалеку, у какой-ни-то бабы. Жадной до денег, незлой, понимающей свою выгоду. Чтобы языком не чесала, а за дитятей досматривала честно. Кормить же самой. Пир-ы-игрища все повечеру, днем с подворья всегда отлучиться можно — и два раза, и три.

Далеко Кикимора не загадывала. Думала лишь, как будет прибегать к сыночку, грудь давать. Смотреть, как кушает. И тем жить. Не так жить, как раньше, а совсем по-другому.

Дотемна бы только дожждаться. Не проснулся бы Золотик, не запищал бы. Вдруг кто будет наверху мимо пустого чулана идти?

Не запищит, поняла она, еще полюбовавшись на младенца. Спит, будто ангел.

Лезть из дыры в полу и потом укладывать на место доски было больно. Раза два качнуло из стороны в сторону, и почернело в глазах. Но боль

со слабостью нужно было одолеть, и Кикимора стиснула зубы, дурноту прогнала. Поддаваться было никак нельзя.

Выглянула из чуланчика — пусто. Прикрыла дверь. Грузно переваливаясь, затопала к лестнице, что вела из подклета вверх. Поднялась по ступенькам — и обмерла. Из-за угла мягкой котовьей походкой выплыл Кут, самый наиглавный над всей вышгородской челядью начальник, до которого как до Господа Бога, обретающегося в заоблачье. Целый день, с утра до вечера, расхаживал грек по дворам, теремам и службам огромного дворцового хозяйства. Всюду поспевал, за всем доглядывал, всё примечал. Кикимору, которая для него, большого человека, навроде блохи, только единожды внимания удостоил — в тот памятный вечер, когда велел с пира в шубную идти, и там пресветлый князь Святослав Ярославич учинил над калекой, что его милости пожелалось. После того Кут горбунью, встретив, даже не замечал — глядел сквозь.

А тут, на беду, чем-то она, сжавшаяся, его заинтересовала. Дворецкий, распахнув длинную, крытую лиловым сукном шубу, остановился. Взгляд пронизывающий.

Кикимора, низко поклонившись, хотела проскользнуть мимо, но тихий, бабий голос молвил, чуть шепелявя:

— Стой-ка. Повернись. Брюхо-то сдулось. Родила уже?

Она оперлась рукой о стену — так ударила в голову кровь. Откуда прознал, колдун грецкий?!

Кут наклонился, взял двумя вялыми пальцами за подбородок, поднял лицо кверху.

— Родила... Эх, хотел я с тобой потолковать, всё времени не было. Что трясешься, глупая? — Густые черные брови тревожно сдвинулись. — Э, да ты не удавила ль дитя? Где оно? Гляди, если с княжьим ублюдком учинила плохое, страшной смертью умрешь.

Глаза, всегда тусклые, будто пленкой покрытые, сверкнули до того жутко — Кикимора затряслась.

— Нет, нет! — пролепетала она.

Он еще посверлил взором. Поверил. Складки на жирных щеках разгладились.

— Кого родила? Парня? Девку?

— Мальчика...

— Веди. Показывай.

На подгибающихся ногах, всхлипывая от ужаса — а раньше никогда, ни разу в жизни слезинки не уронила, — горбунья повела грозного грека в чулан. Раздвинула доски, спустилась.

И тут стукнуло. Не уложить ли Кута к Живке под бок? Ради Золотика не то что дворцового —

и великого князя-государя убила бы, не задумалась.

Но мысль была глупая. Дворецкий не девчонка-прислужка. Будут искать, пока не найдут. И где столько силы взять, когда ноги еле держат? К тому же Кут в подпол и не полез, через дыру заглядывал.

— Поднеси. Разверни.

Она протянула Золотика кверху на ладонях, умоляюще поскуливая.

Грек присел на корточки. Вынул свечу, щелкнул кресалом, зажег. Долго рассматривал младенца, почмокивая губами. Никогда в жизни Кикимора так не боялась, как сейчас.

— Здоровый, — задумчиво сказал Кут. — Ишь, в погребке, на голой земле ошенилась, а здоровый. Никому не сказывала?

Она помотала головой.

— Что ж... Дай-ка.

Вдруг вынул из ее рук ребенка, сунул под широкую шубу.

Горбуня тонко вскрикнула.

— Не шуми, дура. О тебе и твоём ребенке забочусь. Княжий сын — не сучий приплод. Потом решу, как с вами быть. Будете пока у меня в дальней каморе жить. Поди к старшему вашему, Костею. Скажи, я велел тебе при мне состоять.

Пожитки с собой возьмешь. И приходи в большой терем, с заднего крыльца. Спросишь, где Кутова клеть — всякий укажет. Только гляди, как тебя, Кикимора: никому ни слова.

Она радостно кивнула, не веря великой удаче. Ей только сейчас в ум вошло: а ведь верно — Золотик княжьей крови! Потому, наверно, и личиком светится.

Сама себя не помня (и куда только слабость пропала), сбегала к тайнику, забрала короб. Потом, уже спокойная, с улыбкой, отправилась к Костею.

Печенег сидел в своей комнатенке с гостем, тоже нерусским человеком — должно, из берендеев. Пили кислое молоко, жевали сушеную конину.

— Хэ, — удивился гость. — Баба горбатая, а на лицо хороша. Жалко, что горбатая.

Удивился и Костей. Спросил недовольно:

— Что с тобой, Кикимора? Ишь, морду гладкую наела. И с глазами что-то. Этак нельзя. Смеяться не станут. Вечером играть пойдем — сажей, что ли, намажься.

На стене у него висело медное зеркало. Костей, когда к игрищу готовился, себе перед ним рожу потешно малевал. Кикимора, привстав на цыпочки, заглянула.

Правда. Изменилось что-то в лице. Будто она — и не она. Даже черная отметина на лбу словно для украшения нарисована.

— Сам сажай мажься, костлявое рыло, — сказала она. — Ухожу от вас. Главный дворецкий меня к себе берет.

— Ку-ут? — ахнул печенег. — На что ты ему?

— А это ты у него спроси, — огрызнулась горбунья. — Прощевай. Чтоб ты сдох со своими уродами.

Но не по-всегдашнему сказала, без злости, а больше по привычке. Вроде бы так много ее, злости, было в душе, на всю жизнь хватит и еще потом останется, а куда-то вся подевалась, закончилась.

Остаток дня Кикимора прожила не на земле, а на небесных облаках, куда даже птахи божьи не залетают, а обитают лишь ангелы, и один, прекраснейший из всех, был с нею рядом, не брезговал уродиной, ласкал сладкими устами ее убогое тело, питался прóклятым соком, дарил счастье. Она всегда была уверена: счастье — это вроде доброты, пустое слово, измышленное для обмана. А выходило, что счастье есть. Счастье — это когда хорошо и больше ничего не нужно. Белый свет, про который Кикимора думала, что на самом деле

он черный, тоже, оказывается, существует. И бывает такой ослепительно белый, что аж золотой.

У Кута горбунья разместилась очень великолепно, в башенной светелке — малой, но теплой и покойной, с окошком на теремную крышу, на город, на речной простор.

К вечеру стали болеть губы. Кикимора не сразу догадалась, отчего это. А потому что все время рот до ушей. Раньше ведь никогда не улыбалась, только скалилась.

Жалко только, нельзя было кормить дитятко всё время, беспрестанно. Раз, в середине дня, пососал и опять уснул. Но ничего, она сидела, глядела на золотое личико, любовалась на малое круглое пятнышко посередке лба. Оно было не черное, как у матки, а светло-розовое, будто капелька прозрачного клеверного меда.

У отца, которого Кикимора не любила вспоминать, и у бабки тоже был лбяной знак. Это потому что их род, вся деревня, — от древнего лесного бога, у которого из главы произрастал сучок. В незапамятные времена, в далеком краю, где большие озера и деревья до небес, жила-была обычная земная девушка, которая поженилась с лесным богом. И потому в каждом поколении тот сучок беспрерывно у кого-то одного сквозь лоб прорастает.

Маленькой Кикимора, тогда Молчуха, эту сказку столько раз слышала, что запомнила наизусть. Качая своего Золотика, тихонько нашептывала:

— Как не в поле, да не на юру, а в зеленом да во бору, во лесной избушке, у бабушки-старушки, жила дева пригожая, на отца-мать непохожая, собою вся белая, на всяку работу умелая. А в небе чистом по-над облаками, над зелеными да над лесами, от земли высоко, от людей далёко, глазом не свидать, ухом не услыхать, растут други леса, небесные, собою пречудесные. Деревя там все гладкие, на них плоды сладкие, птицы-звери ласкаются, богу Лесеню прислужаются, все промеж собою вместе, поют затейные песни. Лесень-бог слушает, радуется, с небес на землю заглядывается. Один глаз у него светлый, как солнышко, днем зреть, а другой темный, как тучка, чтоб ночью глядеть...

Других сказок Кикимора не знала. Когда досказала до конца, начала сызнова. И в третий раз, и в четвертый. Думала: еще десять тыщ раз расскажу, пока Золотик вырастет.

Никогда она о будущем не мечтала. Разве что о том, как отомстит врагу или обидчику, но это было совсем другое.

Оказалось, что мечтать — тоже счастье.

Золотик — княжий сын. Ничего, что заблудный. У великого государя Ярослава Владимировича таких небрачных до дюжины, и все в больших людях ходят: кто тиуном, кто боярином, кто честным мужем. На серебре едят, в красное сукно одеваются. Так и Золотику будет.

Мамки-уродины ему, конечно, не надо. Но доилицей-то оставят. Вон молока сколько. А после прилепиться бы нянькой. Или хоть кем. Быть бы неподалеку, любоваться, доглядывать, чтоб не захворал. Больше ничего и не нужно. Пускай даже не знает, что страшила горбатая ему родная мать...

Один раз понадобилось Кикиморе по нужному делу. Хотела выйти из светелки — а за порогом стражник. Да не русский, а какой-то косматый, с узкими глазами. И на службе, видно, недавно, ни слова не понимает, не говорит. Рукой только замахал: нельзя-де выходить. Она ему показала: мне-де на двор. Оказалось, для того у стражника есть поганый ушат. Дал и назад, в комнату подтолкнул. Прежде Кикимора окрысилась бы, затаила зло, а сейчас, самой удивительно, нисколько не обиделась. Подумала: ну и ладно, так еще лучше, от Золотика не отдаляться.

Потом тот же нерусский еды принес, вкусной: мясо, хлеб из сеяной муки, орехи, сладкий

мед. Видно, был на хмельное охоч — когда ставил кувшин, облизнулся.

Никогда Кикимора никому ничего просто так не давала, а тут вдруг захотелось.

— Н^а, — сказала, — дурень, пей. Мне и без меду пьяно.

Радетель Кут обещал до вечера объяснить, как они с Золотиком будут дальше проживать, однако не пришел. А и ничего. Кикимора еще раз дитё покормила, мягкой тряпицей обтерла, побаюкала, сызнава сказку про Лесеня и белу деву рассказала. Потом, прижавшись меченым лбом к теплому тельцу, уснула.





КУТ

А Кут к себе в клеть вернуться никак не мог. После заката в тереме князя Святослава Ярославича началась кутерьма. То, чего ждали уже вторую седмицу, наконец случилось — княгиня Цецилия затеяла рожать.

Без дворецкого, на все случаи знатца и пособника, не обошлось. Он заранее постарался, чтобы князь с этим правилом свыкся, не мог ни в каком важном деле управиться без полезного человека. Едва — еще летом — стало ясно, что княгиня понесла, Кут списался с самым лучшим херсонесским врачом, договорился о плате. Ближе к положенному сроку за собственное серебро отправил за лекарем ладью. И как только княгиня начала охать, а князь от непокоя на себе усы дергать, дворецкий подошел к Святославу с ти-

хим, убедительным разговором. Нечего-де бабу молоденькую, нерожалую повивальной бабке доверять. Ведь первенец, по всем приметам — сын. Шутка ли? Всякие могут случиться обстоятельства. Надобен настоящий медик — искусный, греческой выучки, опытный в родовспоможении. «Где же его взять? — вскричал князь, терзаясь тревогой за первенца. — Мы, чай, не в Царьграде!»

Тут-то Кут, подобно кудеснику, своего херсонесца и явил. Ибо высшее мастерство службы — предугадывать желания и нужды своего господина, когда тот еще сам о них не ведает.

Господином многоумного скопца был не Святослав, а великий князь, но услуга, оказанная не по обязанности, а по зову сердца, вдесятеро ценнее.

Предусмотрительный человек должен глядеть в будущее. Ярослав Владимирович очень стар. Сколько ему осталось? Год, два, самое большее — пять. А кто возьмет под себя Русь потом?

Сам государь прочит в наследники старшего сына Владимира. Но тот наместничает в далеком Новгороде и, сказывают, сильно хвор. Второй сын, Изяслав, глуп и вздорен. Если и воссядет на стол, долго не продержится, всех против себя вооружит. А Святослав, третий, и сокол соколом, и

удачлив, и дружине мил. Вот на кого нужно ставить.

Шестнадцать лет назад русский посланник сманил императорского слугу в Киев. Деметрос, будущий Кут, согласился не из-за жалованья. Понимал, что константинопольский двор в упадке и худшее впереди. Человеку с размахом, с чаяниями здесь ждать нечего. А про северную державу, еще недавно считавшуюся варварской, рассказывают, что она богата и могущественна.

И ведь не просчитался. За шестнадцать лет поднялся высоко, стал самым первым из слуг. Пока — из *слуг*. А там видно будет...

В полночь стоны, доносившиеся из ложницы, перешли в истошные вопли. Кут наострил уши. Нет, кричала только баба, младенческого писка было не слышно.

Врач — он священнодействовал в опочивальне один — трижды хлопнул в ладоши. Служанка потащила к двери кувшин с теплой водой. Это херсонесец заранее обучил прислугу. Раз хлопнет — полотенца нести. Два раза — вино разбавленное. Три раза — теплую воду. А если свистнет, тогда можно входить отцу. Непочтительно, конечно, пресветлому князю, как собачонке, на свист откликаться, но грек голос имел старче-

ский, жидкий, из-за дверей и не услышишь. Святослав сказал, что побежит и на свист, да еще по-собачьи на карачки встанет, лишь бы добром кончилось.

Чрево у княгини росло торчком, и рвало ее в последний месяц зеленой желчью — это указывало на мальчика. А всё же князь волновался.

Морщась от пронзительного женского крика, он укусил себе кулак, сказал:

— Только б не девка. Сына хочу! Нет, не может быть девки. Я везучий! Коли дура немецкая мне дочь родит, все скажут: «Закатилась у Святослава его звезда-удача...»

Чтоб отвлечь князя от тревожных дум, Кут заговорил о другом. О том, что нынче из Царьграда, от епископа Агафодора, пришло с купеческим кораблем письмо, из которого явствует, что дело слажено, можно порадовать великого государя.

Святослав оживился:

— Неужто грек сговорил царевну за Володьшу? Ох ты и ловок!

Прошлым летом византийского посла спрашивали без ясного ответа. Оставили в надежде, что митрополита от греков, может, еще и примут. Кут несколько раз ходил к епископу на исповедь,

обещал тайно доносить обо всём, что происходит при киевском дворе. Некоторое время назад отписал в Константинополь: русские от автокефалии отказаться не желают, однако же согласны принять в митрополиты грека — при условии, что кесарь не поспешивится отдать дочь за Всеволода, четвертого Ярославова сына. Только пустят на киевскую кафедру не абы кого, а пастыря, который на Руси всем полюбился легким нравом и доброумием — самого Агафодора.

Протопроезд на что хитер, а наживку проглотил. Кут когда еще сказал князю: грек хочет сам в Киеве сесть и ради этого горы перевернет. Вот и перевернул.

— Базилевс пришлет царевну с Агафодором, чтоб тот свершил венчание. И после того епископ в Киеве останется.

— Пускай недельку-другую погостит, — засмеялся Святослав. — Как окрутит Володышу с Марьей, отправим его восвояси.

Дворецкий знал, как сильно угодил князю известием. Теперь князь доложит отцу, что головоломное дело, в успех которого мало кто верил, устроилось в самом лучшем виде. Всю заслугу Святослав, конечно, возьмет себе, но это пускай.

Очень довольный, князь на время забыл о родах.

— Ой, умора! — захохотал он. — Будет Агафодор себе пустое место чесать, как и подобает скопцу!

Кут улыбнулся, нисколько не задетый шуткой. Никогда, ни разу в жизни он не пожалел, что в детстве лишился мужского стержня. Если б мог найти работорговца, который выкупил его ребенком, чтоб оскопить и после продать, — щедро наградил бы. Обычный мужчина подобен кобелю, готовому нестись сломя голову на сучий запах. И слаб, ибо имеет уязвимый тыл — семью. Скопец же силен своим одиночеством, ясен умом, тверд волей.

Из ложницы вышла служанка, приносившая воду. Снова раздался отчаянный вопль, и Святослав перестал смеяться, потемнел лицом.

— Что там? — рывкнул он на девуку. — Орет, будто режут ее. Долго еще?

Та пролепетала:

— Не знаю, княже. Грек-лечец прочь выгнал, в тычки.

Здесь Кут нахмурился. Чтоб тихий, вежливый херсонесец толкнул служанку? Плохой знак...

А крики умолкли. Святослав весь обратился в слух — не раздастся ли свист врача или плач младенца.

Дверь приоткрылась. Выглянул врач, но не произнес ни слова. Его лицо было бледным.

Кут первым двинулся вперед. Князь — за ним. Вошли в спальню.

Женщина лежала неподвижная, белая, с закатившимися под лоб глазами.

— Мертва? — ахнул Святослав.

Лекарь дрожащим голосом ответил:

— Без чувств.

— А дитя? Родилось?

— Да...

— Что ты еле бормочешь, грек? Неужто дочь? — схватился за сердце князь.

— Нет, господин...

— Слава Иисусу! Где мой сын?

Старик не сразу указал на стол, где лежало окровавленное тряпье:

— Там...

Кут подошел, развернул ткань, отшатнулся. За спиной у дворецкого сдавленно вскрикнул Святослав.

— Что это за пакость?! Ты что мне показываешь, пес?!

Огромная голова на тонкой шейке лепилась к крошечному лиловому туловищу — без ручек, без ножек.

Дворецкий накрыл мертвого уродца покрывалом, взял трясущегося князя за плечи, повел к стене, усадил на лавку.

— На всё воля Божья, княже. Господь шлет испытание, даст и избавление...

Но Святослав не слышал.

— Этого не может быть! — Он отчаянно тряс головой. — Со мной — не может! Стерва немецкая! Гнилая утроба! Что она со мной учинила? Как я отцу *это* предъявлю? Что скажет дружина? Народ? Святослав чудище произвел!

Он закрыл руками лицо, зарыдал. Нужно было дать ему поплакать. Сейчас ничего не услышит и не поймет.

Подав врачу знак, чтоб оставался с князем, Кут тихонько вышел в горницу. Сказал ожидавшим:

— Не родила еще. Отдыхает. Князь велел передать, чтоб здесь никого не было. Желает один остаться. Будет перед образом поклоны класть. — Он показал на висевшую в углу икону святого Николая Мирликийского, Святославова небесного покровителя. — Ступайте, ступайте!

Выпроводив всех, полушагом-полубегом ненадолго отлучился. Вернулся с плетеной ба-
клажкой.

В ложнице было всё то же: князь глухо рыдал, врач стоял рядом, ломал запачканные в крови руки.

— Я сделал, что мог! — жалобно воскликнул он. — Даже не взрезал живот, чтоб не подвергать

жизнь архонтессы опасности. Я вынул младенца, хоть это было очень трудно! Ты видел, какая у него голова?

— Ты ни в чем не виноват, почтенный, — успокоил лекаря Кут. — Я заплачу тебе за труд, как уговорено. Но от князя награды, сам понимаешь, не будет. На вот, хлебни крепкого кипрского вина, оно тебе необходимо. Посиди, отдохни. Я же поговорю с архонтом.

Он наклонился, решительно взял князя под мышки, поставил на ноги.

— Пойдем, княже, в горницу. Здесь дух тяжелый.

Святослав, с трудом переставляя ноги, дал себя увести.

— У тебя вино? — пробормотал он. — Дай, хочу!

— Не сейчас. После.

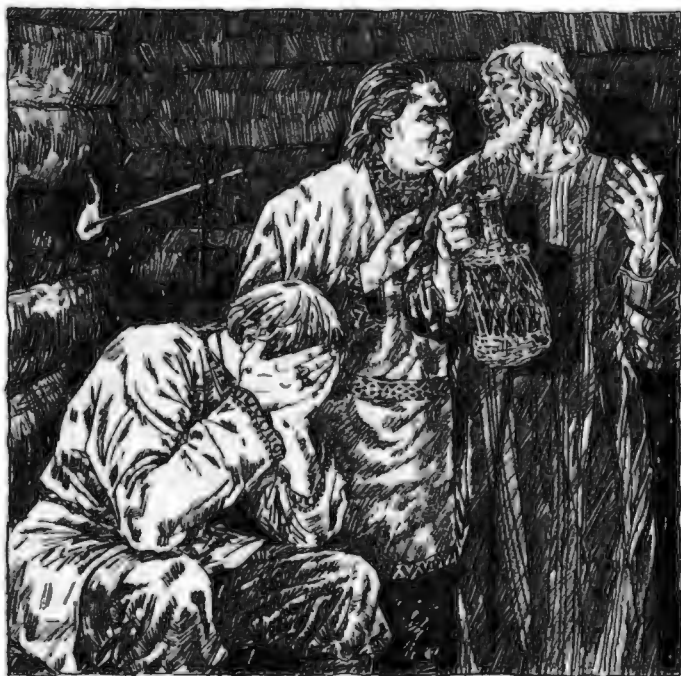
В пустой горнице дворецкий отвел князя к окну. Сказал негромко, но с нажимом:

— Успокойся, господин. Твой первенец жив.

Святослав испуганно оглянулся на ложницу:

— Жив?! А что с ним таким делать?!

— Слушай меня, не перебивай. Время дорого. — Кут сильно тряхнул князя за плечи. Сейчас было так нужно. — Помнишь ли, как зимой ты покрыл горбунью-шутиху? В шубной, при Агафодоре. Вспомнил? Минувшей ночью горбунья



родила мальчика. Здорового. Никто про то не знает. Горбунью с ребенком я от всех спрятал. На всякий случай. Мало ли что — вдруг княгиня родит мертвого. Про такое, — он кивнул на запертую дверь, — конечно, думать не думал. Но это ничего. Уродца я вынесу, закопаю. Княгине положим другого сына, здорового. Очнется — не поймет, что чужой. Откуда ей узнать? А тебе он будет родной, своя кровь.

Не ошибся Кут, когда решил из всех Ярославовых сыновей сделать ставку на этого. Еще минутоу назад Святослав был будто клоп раздавленный, но вот встрепенулса, взгляд стал остр, плечи расправились. Такого за плечи уже не потрясешь.

Дворецкий отступил на шажок, убрал руки за спину.

— А ребенок точно ль мой?

— У кого кроме тебя хватило бы доблести на страшилищу влезть? — льстиво улыбнулся скопец. — И на лицо вылитый ты.

Теперь Святослав сам схватил слугу за плечи — с такой силой, что Кут охнул.

— Веди!

Стражника-торка Кут отослал. Хотя он был с урезанным языком, а все одно лишнего видеть незачем.

Вошли в малую каморку, куда были помещены Кикимора и ее роженыш. Горбунья спала сидя, обхватив короб с младенцем. Услышала шаги — вскинулась. Испуганно захлопала глазами на пресветлого князя, он же на нее и не посмотрел. Жадно заглянул поверх.

Одной рукой держа светильник, Кут не забыл погладить уродку по волосам: не трясись, мол, всё хорошо. Она сжалась, не шелохнется.

Святослав пальцем, осторожно, развернул пеленку. Нагнулся.

— Свети ярче... Погоди, переверну... Ладный какой. Кожа чистая, только на лбу пятнышко. Годный младенец, годный. Только вот что... — Обернулся, нахмурился. — А лекарь?

— Никому не скажет. Ручаюсь.

Говорили по-гречески.

Князь усомнился.

— Здесь-то не скажет. А в Херсонесе?

— Ни здесь, ни в Херсонесе. Нигде. — Дворецкий похлопал баклагу, висевшую у пояса. — Вино, каким я его напоил, особенное. Нет уже лекаря. Старый человек. Роды были трудные. От усталости, от волнений помер. Да кто про него вспомнит, когда радость такая — первый Святославич родился.

Кивнув, князь подумал. Прищурился. Кут догадался, о чем дума. Не знал только, скажет вслух или нет. Если промолчит — нехорошо. Всё сейчас от этого зависело.

Но Святослав сказал:

— Значит, никто кроме тебя ведать не будет?

Мысленно перекрестившись (вслух сказал!), дворецкий ответил заготовленное:

— Сомневаешься во мне — убей. Но я весь твой, с потрохами. Куда ты, туда и я.

Не понимая, о чем разговор, но чувствуя напряжение, горбунья, кажется, вообразила, что спорят о ней. Засуетилась, распахнула ворот, вынула набухшую грудь.

— У меня молока страсть сколько. Сладкое!

Подняла младенца, стала совать ему сосок, но ребенок был сыт, есть не хотел.

— Нечего уродине моего сына своим поганым соком травить, — недовольно молвил Святослав. — Сыщи мне самых лучших доилиц. Здоровых и румяных. А с этой... Сам решай.

— Не изволь тревожиться, княже.

Перед тем как уйти, князь сказал:

— Попрошу отца, чтоб отдал тебя мне. Будешь при моем сыне дядькой. Воспитай его таким же умным, как ты... Я — вперед пойду. Погляжу, чтоб никого не было. Если Цыцка очнулась, скажу, что младенца унесли обмыть. Но лучше бы поспеть до того. Не медли. Скоро вслед иди. Сына спрячь под шубу. Эх, да что я учу ученого?

Махнул рукой, вышел.

— О чем было говорено, господин? — робко спросила Кикимора. — Что Золотик кушать не схотел, так это он сытенький. Гляди, улыбается!

Подивился Кут чудесам божьим. Двадцатилетняя немкиня, кровь с молоком, рождает ужасного кадавра, а горбатая калека — крепыша.

Его молчание показалось уродке страшным.

— Что князь сказал? — повторила она изменившимся голосом. Ощерила зубы. — Отобрать велел? Не дам! Куда он, туда и я!

«Будто мои слова подслушала, — внутренне усмехнулся скопец. — Ишь, вцепилась. Какие пальцы сильные».

Потрепал бабу по щеке.

— Повезло твоему сыну. Радуйся. Нынче ночью княгиня родила мертвого младенца. О том никто не ведает. Князь хочет твоего Золотика — ишь, имя какое удумала — выдать за своего законного первенца. Вырастет — тоже князем будет. Может, даже великим. Но только гляди. Рот держи на замке — и сейчас, и после. Сыну навредишь.

Она пальцы разжала, схватилась за грудь.

— Ни одной душе! Никогда! И самому ему знать незачем! На что ему такая мать? Мне бы только докормить, а потом близко быть. Всё равно кем. Дозволь, умоли князя! А я твоя верная раба по гроб буду!

Кут отдернул руку, чтоб не целовала. Засмеялся:

— Зря волнуешься. Всякий знает, что для дитяти лучше всего молоко родной матери. Докормишь, хоть бы даже того и не хотела. А выдо-

ишься — оставляю тебя во дворце на покое жить. Негоже княжьей доилице на пирах кривляться.

Надо же — от счастья даже у страшилин лицо делается красивым. Глаза так и вспыхнули — яркие, лучистые.

— Клянусь! Под пыткой правды не вырвут.

— Кто станет пытать княжью доилицу? А что ты горбата, это не в зазор. Горб — к счастью. Сядь-ка вот. Вина выпей, чтоб лучше спать. Такая у тебя теперь работа — есть, спать да дитё кормить. Хорошая работа.

— Не надо вина. — Кикимора отодвинулась от баклаги. — Боюсь, усну крепко. Золотик позовет, а я не услышу.

— Пей, пей. Обычай такой греческий. На счастье. Чтоб всё сбылось. А про дитя теперь не твоя забота. У него няньки будут. Понадобишься — разбудят.

Она выпила.

— Сладкое...

— Привыкай. Теперь всегда будешь сладко пить-есть... — Он взял флягу. — Ну, пора нести. Пойду погляжу, нет ли лишних глаз, а ты ребенка заверни в плат получше.

Он прошелся по пустой галерее. Встал у заиндевевшего окна, полюбовался на тусклые зимние звезды.

Ах, какая ночь! На всю жизнь запомнить.

Пожалуй, время. Зелье действует быстро.

Вернулся в каморку. На полу бесформенным кулем лежала горбунья. Пальцы на вывернутой руке еще подрагивали, но дыхания уже не было.

Ребенка она завернула хорошо, плотно.

На руках у дворецкого дитя проснулось, открыло глазки, вопросительно наморщило лобик с розовым кружком в самом центре.

— Ну здравствуй, княжич пресветлый, исчадие неплодности моей, — тихо сказал Кут. — Будешь сыном не князю — мне. Храни тебя Христос от бесчисленных опасностей, подстерегающих сынов человеческих: от тихой смерти младенческой, от мора детского, от буйства отроческого, от злобы завистников, от ревности родичей. А я, что могу, для тебя сделаю. И да вознесет тебя Господь высоко-превысоко, а с тобою и меня, грешного. Аминь.

Младенец зевнул. Евнух прикрыл светлое личико углом платка. Взял кулек к груди, под шубу. Понес.



A decorative frame composed of several overlapping, flowing black lines that swirl around the central text.

КНЯЗЬ КЛЮКВА

Повесть



ПРО АРИФМЕТИКУ

И очень даже хорошо, что его боле не будет, подумал Ингварь, хмуро глядя в зеркало. Оно было большое, с круглый половецкий щит, полированного серебра. Каждую родинку, каждый волосок видно. Отныне придется смотреться в обычное, медное, где всё будто в красноватом тумане. Ну и ладно, расстройства меньше.

На что любоваться-то? Ростом мал, сложением щупл. Добрыня, который знает всё на свете, сулит: мол, в возраст войдешь, летам этак к тридцати — и костью поширеешь, и мясо нарастет, но тогда уже все равно будет, в тридцать-то лет. Краса нужна сейчас, а ее нет в помине. Голова на тонкой кадыкастой шее будто одуван. Волосы желты, бороденка цвета прелой соломы, растет

пухом-перьями. Лицо костлявое, неладное. Брови, пожалуй, неплохи — густые и темные, зато ресницы, будто на смех, белесые. Глаза посажены близко к носу — и не нос это, а носишко. Губы пухлые, словно у дитяти. Хоть бы усы поскорей запышнели, прикрыли рот.

Всё бы ничего, есть уроды и хуже, кабы не треклятое пятно. Ровнехонько посреди лба разместился кругляшок багрового цвета — словно ты прихлопнул насосавшегося комара, а смахнуть забыл. У матери на лбу, говорят, тоже была такая отметина, только бледная, почти невидная. Свой родовой знак мать унаследовала от родителя, которого так и звали — Меченый. Но старицкий князь, Ингварев дед, был богатырь и удалец, а удалца, как известно, и оспа красит. Если б Ингварь вырос красным молодцем, как старшие единокровные братья, ему пятно было бы не в досаду, лишь прибавило бы приметности, а княжичу приметность всегда в пользу. Но он пошел в мать: телом мелок, нравом тих. Овдовев после первой жены, отец взял старицкую княжну девочкой и не дал дозреть, сгубил первыми же родами, так что первый крик Ингваря прозвучал в то же мгновение, что и последний стон его бедной, почти и не пожившей матери. Всего от нее осталось, что кружок на лбу да из приданого вот



это серебряное зеркало греческой работы, с которым ныне предстояло расстаться...

Ах, что зеркало? Сегодня Ингварю предстояло распрощаться с надеждой, светом и радостью всей жизни. Страшно, трепетно было ехать в Радомир, а и не поехать нельзя. Член, пораженный антоновым огнем, подлежит усекновению. Промедлишь дольше крайности — сгинешь. Лучше жить калекой безруким иль безногим, чем вовсе погибнуть...

Услышав за дверью шаги, Ингварь положил зеркало на стол, где уже была приготовлена овчина, чтоб не поцарапать драгоценную вещь при скачке.

— Готово? — спросил он, не поворачиваясь. Думал, пришли сказать, что конь оседлан.

Но то был не слуга, а ближний, он же единственный боярин Добрыня Путятич.

— Гридь из орды вернулся, — сказал Добрыня и тяжело вздохнул. — Борислав это. Живой...

Усы у боярина были длинные, седые, а борода короткая и серая, словно шерсть на морде у матерого волка.

Просветлев лицом, Ингварь трижды перекрестился на икону Феодосия Печерского, святого покровителя свиристельского княжества.

— Слава Господу!

— Как письмо прочтешь, Бога славить передумаешь.

Правой рукой, на которой было только два пальца, большой и мизинец (прочие когда-то отхватила половецкая сабля), боярин протянул пергаментный свиток, развернутый.

Ингварь взял письмо, несколько не удивившись, что оно уже прочитано. От Добрыни секретов нет. На нем, мудром и надежном советчике, всё держится.

Маленьким Ингварь страшился Путятича не меньше, чем отца. Уже тогда Добрыня был немолод, суров, на речи скуп. На княжича-последыша, который при двух старших братьях не имел

никакой важности, даже и не глядел. Кажется, ни разу слова не сказал.

Нет, один раз было. Лет восьми Ингварь играл на псарне с новорожденными щенками. Гончая сука принесла шестерых. Смешные, слепенькие, они копошились в корзине, наползая друг на дружку. Сунешь кутенку палец — хватает беззубым ртом, думает, это титька. Мальчик смеялся. Вдруг его накрыло тенью. Это подошел Добрыня, наклонился. Внимательно поглядел — не на княжича, на щенков. Своей жуткой двухпалой рукой потыкал в одного, в другого, в третьего. Двоих оставил в корзине. Остальных сгреб лапищей и сжал. Хрустнули тонкие косточки. Сука с визгом кинулась в угол, куда боярин отшвырнул трупки. Закричал от ужаса и маленький Ингварь. Лишь тогда страшный человек посмотрел на него, сверху вниз. Сказал: «Слабым жить незачем. Тебе это надо знать». Но Ингварь знал тогда только одно: что всей душой ненавидит Добрыню. Такому волю — он бы Владимира с Бориславом, старших братьев, оставил, а Ингваря точно так же раздавил бы и в гнилую солому кинул...

Видя, что князь медлит читать письмо, боярин криво усмехнулся:

— Вижу, рад? Читай, читай...

И стал наматывать ус на сиротливо торчащий мизинец, что служило у Добрыни знаком предельной озабоченности.

Первый раз Ингварь обнаружил у боярина эту привычку два года назад, в тот черный день, когда моровая язва утром забрала отца, а вечером брата Владимира.

От горя и потрясения Ингварь утратил всякое разумение. Только молился и рыдал, совсем ослеп от слез. О том, что теперь будет, страшился даже думать.

Подошел Добрыня, яростно накручивая ус. Взял за руку, увел от смертного ложа в угол. Сурово молвил: «Впредь плакать на людях не моги. Ты теперь не княжич — князь. Надо быть сильным». От таких слов Ингварь взвыл пуще прежнего: «Не смогу я! Куда мне?» К княжению его никогда не готовили, сам он и подавно о том не помышлял. Как это — князем быть? За всю землю, за всех людей перед Господом ответ держать? «Сможешь. Придется смочь», — сказал боярин и принялся дергать ус еще неистовей. Потом тихо прибавил: «Ладно. Поплачь напоследок, пока рядом никого. Я бы тоже с тобой поплакал, да не умею. Никогда не умел... У меня в прошлую ночь жена и сыновья померли... Никого не осталось. Как у тебя». Про то,



что у Добрыни в семье тоже мор, Ингварь не знал. Но плакать горше прежнего было уже некуда, поэтому, всхлипнув последний раз, умолк. «Так-то лучше, князь. Будем с тобой, как эти два перста. — Боярин показал свою искаленную руку. — Ты сиротствовать, я бобыльствовать. Не робей. Держи княжество крепко. Что тебе остается? От судьбы не сбежишь. Чего не знаешь — я научу. Как-нито сдюжим».

Вначале было очень трудно. Чуть не каждый день Ингварю приходилось сражаться со слезами, не допуская их на глаза. Добрыня всё мотал

на мизинец усы. Без него Ингварь не сдюжил бы — пропал бы и свое княжение, неожиданное-нежеланное, сгубил бы.

Ничего. Понемногу выправились. Повезло Ингварю с советчиком — единственное во всю жизнь везение, зато большое.

* * *

Уже зная, что хорошего не прочтет, он развернул шуршащий свиток. Неужто вправду отыскался Борислав? Не обман ли? Не ошибка ль?

Но прочел первые строки, и сомнение исчезло.

«Худой, злосчастный, в крайности смертельной обретающийся, молю тебя, брат мой единокровный, кого малым дитятей на плечах играючи возил, Христа Господа ради и отца нашего возлюбленного памяти для, не оставь меня, не предай на страшную погибель...»

Пергамент задрожал в пальцах. Будто вчера было: огромный Борислав, насильно усадив маленького брата на плечи, несется вприпрыжку по склону холма, к реке Крайне; Ингварь орет благим матом, страшно, а Борис (так Борислава звали в семье) гогочет. Никто чужой такого помнить не мог.

В самом деле Борис! Жив!

А в Свиристеле про него давным-давно и думать позабыли. Сколько лет-то прошло? Кажется, пять. Нет, шесть.

Самый старший из братьев, Владимир, кому надлежало в назначенный Господом срок принять отцовский стол, был степенен, рассудителен, прилежен. Второй, Борислав, четырьмя годами младше Владимира и десятью старше Ингваря, не походил ни на первого, ни на второго. В детстве был шалун, в отрочестве — шкода, а как вырос, стал озоровать с размахом. То затеет охоту в чужих угодьях, и отцу потом с соседним князем рядись, объясняйся. То привезет из Киева мужнюю жену, сманенную у великокняжеского боярина, и после надо за срам платить немалую виру. Однажды взял и ограбил на реке Крайне крымских купцов. Добычи взял немного, а с тех пор караваны через свиристельское княжество плавать перестали, и казне произошел немалый урон. Отец худо-бедно терпел пакости среднего сына, пока Борис не вздумал задирать половцев — угнал у них табун. Тут уж запахло не вирой и не убытком, а гибелью для всего княжества. Со степными хищниками шутки плохи.

И кончилось у князя терпение. Посадил беспутного под замок, приставил крепкую стражу.

Но в неволе Борис просидел недолго. Улестил караульных, закурил им головы соблазными речами — это он хорошо умел. И сбежали стерегущие вместе с узником. Перед тем взломали казенную клетушу, где казна. Взяли ларь с золотом, которое отец копил на случай недорода, поветрия, войны или иной напасти. Увели с конюшни самых лучших лошадей. Брат Владимир хотел снарядить погоню, но отец в мудрости своей не позволил: «Бог с ней, с казной. Другую наживем. Зато Бориска не вернется. Дешевле выйдет». И с тех пор не было о среднем брате ни слуху ни духу. Исчез, растаял, будто унесенная ветром туча.

И вот, две недели назад, из становья Улагай, где сидит грозный Тагыз-хан, пришла весть: у половцев Борислав, пленником. Послали младшего дружинника-гридя проверить, правда ли...

Шесть лет назад Борис бежал совсем в другую сторону — на запад. Как же он теперь к Тагыз-хану попал? Каким лихом?

Рука у брата была скверная, к письму непривычная. Буквы толкались, строчки шли вкось. Ингварь сдвинул брови, зашевелил губами, чтоб понять, где кончается одно слово и начинается другое.

«...Ныне после многих хождений, какие пересказать не хватит пергамента, ввергнут превратной судьбой в руки Тагыз, русской земли мучителя и разорителя. Томлюсь здесь, в Улагае, от половцев жестоко терзаем, в ожидании смертного часа. Велел хан тебе, брату моему и свирительского княжества владельцу, передать, что, ежели не заплатишь за меня до новой луны выкупа, прикажет он, Тагыз, разорвать меня конями на четыре стороны и куски несчастной плоти моей тебе пришет. А выкуп, какого хан требует, четыреста гривен серебра. Коли вызволишь, Христос тебя за братолюбие наградит. А коли оставишь пропадать, буду Его, Спасителя нашего, молить, чтоб над твоей душой смирносердствовал.

Брат твой Борислав».

Читая письмо, Ингварь дважды вскрикнул. Первый раз — когда представил, как лютые половецкие кони рвут брата на части. Второй — когда узнал, сколько серебра хочет Тагыз-хан.

Четыреста гривен!

Всё свирительское княжество, с полями, пастбищами, скотами, звериными и рыбными ловлями, бортьями и пошлинами, давало в хороший год до тысячи трехсот гривен, в плохой —

не более тысячи. На это надо дружину кормить, двор блюсти, пограничную крепость содержать, дороги-пристани чинить, Божьей церкви кланяться, погорельцам пособлять. Да мало ль расходов! Как ни изворачивайся, вечно не хватает. А тут отдай четыреста гривен! Где взять? Как потом выживать?

Род свиристельских князей шел от Святослава Ярославича, сына величайшего из русских владык мудрого Ярослава. Со временем Святославово потомство расплодилось, расселилось по всей Руси. В черниговском углу прежней единой державы утвердились Ольговичи, семя Олега Святославича, у которого, как у Ингваря, на лбу был некий родовой знак.

Обмельчала некогда могучая ветвь Рюрикова древа, поделилась на ветки, веточки и мелкие сучки. Во времена прадеда княжество было большое, во времена деда — среднее, в отцовские стало из самых малых. Худший из людей, жизни и счастья погубитель, северский княжич Володарь был прав, когда насмешливо называл Ингваря «невеликим князем». Невеликий и есть, а город его, согласно с прозванием, — свиристель, птаха крохотная, бессильная.

Сто пятьдесят лет назад были иные времена, великанские. Ныне трудно и вообразить — как

это возможно: чтоб один государь правил всей необъятной Русью, от Новгорода до днепровских низовьев и от рязанской земли до Волыни. Теперь даже Всеволод Юрьевич Владимирский, гора превеликая, на какую отсюда, из ничтожного Свиристеля, голову задрать — вскружится, имеет власть только над северо-востоком, и то некрепкую, всё никак сопредельных и удельных в узду не возьмет.

Глава же рода Ольговичей, пресветлый Всеволод Святославич, сидит в Чернигове. Под ним три дюжины малых князей, всяк сам по себе. Свиристельский в этой цыплятне предпоследний. Беднее лишь восточный сосед, троюродный Юрий, князь Забродский. Его только пожалеть: обитает на рубеже со Степью и все дни, как осенний лист, дрожит.

* * *

Когда Ингварь по внезапной смерти отца и старшего брата, против воли и душевной склонности оказался на свиристельском столе, думал — не сдюжит. Отцу, с его силой, опытом, мудростью, было трудно, а где уж княжить мальчишке несмышленому, которого никто никогда в

расчет не брал? Свое невеликое владение отец еще больше дробить не хотел — думал всё оставить первенцу Владимиру. Второй сын, от которого можно было ожидать распри, слава Богу, убрался сам. Ингваря же отец не опасался. С детства говорил ему: «Монахом тебя сделаю. Будешь толков — со временем в архиереи поднимешься. Станешь брату-князю и родному краю духовной и церковной опорой».

Епископством Ингварь не прельщался, ибо в нем много суеты, а вот о настоятельстве в какой-нибудь тихой, покойной обители мечталось с приятностью. Жить бы в лесу, вдали от злого мира. Читать книги, разводить пчел, вести беседы с монахами о чудесном и умственном.

Но Господь судил иначе. Взял отрока робкого, в себя не верящего, ни к какому делу не пригодного, за шкурку, будто котенка. Швырнул в стремнину. Можешь — плыви. Не можешь — тони.

Молодой князь побарахтался, бурливой воды нахлебался, страху натерпелся, но не потонул. Выплыл.

От неуверенности, от вечного опасения сделать промашку, он вникал во все дела сам, вплоть до самых мелких. Ни тиунам, ни приказчикам, ни старостам на слово не верил. Княжество-то

небольшое. Если поздно ложиться, рано вставать и себя не жалеть, всюду поспеть можно. Узнал каждое поле, каждое пастбище, каждую бортню, каждый луг. Неделями из седла не вылезал.

Траты на княжий двор, какие только возможно, сократил. За два года не купил себе ни единой обновы, ходил во всём старом — скупился.

От этого лишнего жита не уродилось, рыбы в реке не прибыло и коровы не стали телиться чаще, но расходов казне поубавилось, так что Свиристель впервые обошелся без займа у черниговских ростовщиков — раньше самим дотянуть до урожая не получалось.

Была еще одна горькая хвороба, подтачивавшая тщедушную отчину: разбойные набеги. Речь не про половцев. С теми что сделаешь? Только дозорных по степи расставить. Они завидят орду — пускают дымы. Тогда все приграничные крестьяне, бросив дома, бегут в крепостцу Локоть. Люди, ближние к стольному городу Свиристелю, торопятся под защиту его бревенчатых стен. Надо ждать, пока орда уйдет обратно или повернет грабить другие княжества. Тогда можно возвращаться. Заново строить сожженные дома, вынимать из колодцев дохлятину, собирать, что осталось, с вытоптанных полей. И жить

далее, моля Бога, чтоб поганные в следующий раз нагрянули не скоро.

Половцы — ладно. К ним еще с прапрадедовских времен привыкли. Не так уж часто они в большой силе приходят — может, раз в пять лет. Знают, что в свиристельских краях сильно не разживешься. Но по весне, в половецье, повадились являться блудные новгородцы на лодках-ушкуях. В каждой десятка по три оголодавших за зиму, лютых, привычных к военному делу разбойников.

Пограбят приречные села, кого из людей поймут — увозят с собой. Воевать с ушкуйниками себе дороже. Людей положишь, а победишь ли, нет — неизвестно.

Отец как поступал? Собирал дружину, но сильно не торопился. Давал ушкуйникам сколько-то времени пограбить, чтобы остались не с пустыми руками, а то ведь не уйдут. Потом, тоже небыстро, с великим шумом, колотя в бубны и трубя в трубы, вел войско к реке. Тогда новгородцы столь же неспешно укладывали добычу в лодки и убирались восвояси, до следующей весны. Повсегодняя эта докука, по счету Ингваря, обходилась Свиристелю гривен в сто — полтора-раста ущерба. Жалко было денег, и крестьян жалко.

Поэтому к весне он приготовился загодя.

Как только над северным лесом потянулись в небо черные дымы — знак тревоги, согнал к самой дальней речной деревне окрестных мужиков, дал каждому по длинной палке. Впереди, над высоким берегом, поставил всю дружину, даже из крепости Локоть воинов снял, на Бога понадеявшись, что не наведет половцев (они весной в набег обычно не ходили).

Подплыли ушкуи, сбились посреди Крайны в кучу. С реки на берег смотреть — должно было казаться, что там изрядное войско.

У самой воды, на песке, Ингварь велел поставить двенадцать бочек пива-олуя, десятков овец, четырех коров (яловых, каких меньше жалко), несколько мешков мучицы. Жрать хотите — нате вам. А мало — вылезайте, будем биться.

Полдня ушкуи простояли, сдвинув борты. Было видно и даже слышно, как новгородцы спорили, драться или нет.

Ингварь сидел в седле, изнывая под тяжестью отцовской кольчуги. Шлем сползал на затылок, приходилось все время поправлять.

Боялся — не сказать как. Вдруг ушкуйники все же в бой пойдут? Что тогда? Боярин Добрыня остался в городе, прикрывать тыл на случай поражения. Значит, командовать придется само-

му. А как? И послушает ли жидкого голоса дружина?

Еще было страшно представлять, как каленая новгородская стрела с шипастым наконечником ударит в живот, между железных пластин, или того хуже — в глаз. А за щиты воинов не спрячешься. Надо быть все время на виду — князь.

Однако новгородцы решили не биться. Ближе к вечеру высадились, забрали гостинцы. Ингварь послал вперед самого рослого и зычного дружинника — крикнуть, чтоб больше не приходили, на следующий год подношения не будет.

И что же? В эту весну снова со всей дружиной ждал ушкуйников, но дымы над лесом не поднялись. Не явились ушкуйники. Верно, приладились кормиться в другом месте, где проще.

Больше всего Ингварь гордился не тем, что отвадил северных разбойников, а делом большим, трудным, доселе неслыханным. Сам придумал — от вечного своего беспокойства. В прошлом апреле, когда решил, что можно обойтись без ссуды под новый урожай, стало очень страшно: дотянут ли люди до летних грибов, ягод, огородного пропитания? Хлеб ведь только осенью будет. И весь свиристельский народ привиделся ему (ночью это было, в полудрёме) сонмищем

разинутых голодных ртов, которые нужно накормить. Подумалось: знать бы точно — сколько их, этих ртов. Тогда можно бы рассчитать, хватит запасенного в амбарах зерна или нет.

Мысль была ночная, неясная. Но утром вернулась с довеском. Нужно понять не только лишь, сколько в княжестве ртов, но и сколько рук, способных держать соху, а случись половецкое нашествие, взять рогатину.

Так затеялась великая работа: переписать всех свиристельских жителей. Сначала князь думал, что это будет просто. Разослать тиунов во все стороны, они люд повсюду пересчитают. Потом свести в одну цифирь — и кончено.

Однако крестьяне, известно, пугливы и во всем видят либо козню, либо злое ведовство. В первый же день приказчика, который в недалеком от Свиристеля-города селе стал ходить по дворам с берестой, приняли за чародея. Привязали на шею камень, посадили в реку — поглядеть, всплывет ли, потому что колдуны в воде не тонут. Приказчик, бедняга, не всплыл, но другого на его место Ингварь присылать поостерегся.

Пришлось действовать иначе — медленно и тайно, людей не будоража. Всё лето по свиристельской земле ходили особые люди, ставили засечки: где сколько домов. Пересчитать поддан-

ных, как мечталось вначале — сколько мужчин, сколько женщин, сколько детей, сколько бесполезных стариков, которые тоже едоки, не получилось. Да оно, может, и не надо. От баб в работе проку немного, в войне и подавно. Дети и старики легко мрут — как их сочтешь? Довольно переписать очаги, от которых кормятся семьи. По ним же и подать исчислить. Она получила название «подымной», по печному дыму.

Теперь Ингварь в точности знал, за сколько семей ему перед Богом ответ держать.

В княжестве имелись: стольный град Свиристель; два городка Пустоша и Ляховец; крепость Локоть у брода на реке Донке, из-за которой всегда половцы приходят; восемь сел; двадцать деревень; и еще в северной стороне, где леса, проживали бортники со звероловами, но их переписать не вышло, потому что бродят с места на место и сегодня они твои, а завтра уйдут в леса к соседнему остроумскому князю — и нет их.

Домов на круг получилось две тысячи, четыре сотни и тридцать шесть. С бабами, стариками, со всем приплодом тысяч пятнадцать народу. Ингварь и не думал, что так много. За каждого, кто с голоду помрет, кого от степных хищников или разбойников не убережешь, с тебя, князя, на Страшном суде спросят. Поставлен пасти ста-

до — береги его от падежа и волчищ, а иначе ты пастух скверный, нерадивый.

Отец Мавсима, свиристельский протопоп, говорит, что на том свете над земными владыками другой суд, не как над обычными людьми. Простой человек перед Господом только за свою душу отвечает, а князю грех против собственной души может и проститься, если властитель переступил Божью заповедь ради люди своя, но не будет снисхождения тому государю, кто блюл себя пуще подданных.

Ингварь эту истину помнил крепко и старался по ней жить. На третий год княжения вроде стало и получаться.

Свиристель живет небогато, но покойно. Люди не голодают, дома стоят. Начали даже чужие нищие на подкорм прибредать — верный признак, что здесь сытнее, чем в иных местах.

Ингварь уж стал прикидывать, как поставит через Крайну мост, и хорошо бы городскую стену башнями укрепить, а еще протопоп жалуется, что храм совсем обветшал.

И вот нá тебе: отдай четыреста гривен! Всем замыслам конец, а земле лихо и разорение...

— Где столько серебра возьмем, Путятич? — жалобно спросил молодой князь.

У боярина ответ уж был готов.

— Нигде, — жестко сказал Добрыня и дернул себя за ус. — Князь-Борислава выкупить нам невозможно. Да и незачем. Он изгой, отрезанный ломоть. Сам ушел, по своей воле.

Ингварь наклонил голову. Долго молчал, хлопал светлыми ресницами.

Со вздохом молвил:

— Давай отца Мавсиму послушаем. Что скажет? — Подозвал челядинца, зевавшего у двери. — Эй, милый, поди скажи, чтоб за отцом протопопом послали. Пусть передадут, мы с Добрыней Путятичем на совет зовем.

Слуга кивнул, но с места не тронулся — сначала решил дозевать. Челядь на княжьем дворе была старая, еще отцовская. Никак не могла привыкнуть, что былой последыш, на кого прежде не глядели, теперь государствует. Надо бы с ними построже, но у Ингваря не получалось.

Боярин сдвинул седые брови — не понравилось, что князь его суждением не удовлетворялся.

— Оглох? — рывкнул Добрыня на прислужника. — Плетью выдрать? Живо Мавсиму сюда! Князь велел!

Челядинца будто вихрем сдуло.

* * *

Но ждать, пока явится Мавсима, не стали. Вспомнили, что об это время протопоп вкушает утреннюю трапезу, а дело это было долгое, и святой отец, пока не завершит, из-за стола не поднимется. Мавсима говорил, ссылаясь на Писание, что хлеб насущный — милость Божья, и оскорблять ее поспешанием есть великий грех. Поэтому князь с боярином пошли к трехглавому Феодосьевскому храму, в пристройке к которому жительствовавший свиристельский главнотроитель, сами, не чинясь.

Протопоп кушал, как всегда, обстоятельно. С заедками — тертой редькой, солеными рыжиками, простоквашкой — уже покончил и теперь ел просяную кашу с рыбной тешей, а на блюде дымился разварной кур, обсыпанный укропом.

Гостям Мавсима обрадовался. Усадил, принял потчевать. Когда оба отказались, расстроился.

— К старости чревоугодлив стал, — пожаловался он. — Хоть и речено в «Послании к евреям», что надобно укрепляться благодатью, а не яствами, но я рассудил, что я не еврей и потому могу укрепляться и тем, и другим. Сам покушать

люблю, люблю и поглядеть, как гости кушают. А то отведали бы кулебяки? Хороша!

— Мы по неотложному делу, отче, — сказал Ингварь. — По такому, что и у тебя кус в рот не полезет.

А Добрыня ничего говорить не стал. Сел на лавку, левой рукой подпер скулу, правой подцепил ус.

Протопоп тяжело вздохнул, с сожалением отодвинул мису.

— «И предложе им хлебы ясти, и рече: «Не ем, дондеже возглаголю словеса мои». И рече им: «Глаголи». — С круглощекого, румяного лица пропала улыбка. Маленькие, не по возрасту яркие голубые глазки прищурились. — Что стряслось, сыне? Какая напасть? Оба вместе вы ко мне еще никогда не жаловали.

Удивительный пастырь был Мавсима. Несуровый, в праведный гнев не впадающий, на любую вину говорящий: «Ничего, Господь милостив, помоли от сердца — простит». В обычное время много шутил и сам на чужие шутки охотно хохотал. Был и лукав, и себе на уме, и на деньги скупенек, но в час, когда становилось не до шуток, будто чья-то рука отдергивала занавесь с намалеванной добродушной личиной, и проступал другой облик, истинный. Такого Мавсиму князь и чтит, и боялся. Протопоп же про

себя объяснял: «У меня своего ума нету, я человек глупый, сосуд хрупкий. Но на донышке того сосуда плещется малая толика влаги, какую Господь налил. Когда нужда, я уста грешные запечатываю, умишку убогому даю укорот и прислушиваюсь к тому плеску. Он не обманет».

Слушая рассказ — сначала Ингваря, потом Добрыни, — поп и в самом деле губы плотно сжал, словно запечатал, а затем и прикрыл глаза.

Князь говорил жалостно, смятенно, со слезами. Боярин — рассудительно, веско. Изречет немного — спросит: «Так иль нет?» Мавсима кивает: так. Ингварь, слушая старого советчика, и сам понимал, что прав Добрыня, во всем прав. Выкуп неслыханный. Бориславу никто ничем не обязан. Ради изгоя разорять княжество — преступно. И не сам ли Мавсима учил, что первый долг государя — перед подданными, а не перед родней? Прочие доводы Путятича были не менее убедительны, и священник всякий раз молчаливо соглашался.

Наконец боярин закончил.

— Что князю посоветуешь, отче? — спросил он успокоенно, не сомневаясь в ответе.

Мавсима пожевал мясистую губу, наклонил голову — будто действительно прислушивался к какому-то внутреннему звуку.

— А спросит Ингваря, призвав к себе, Господь: «Где есть Авель, брат твой?» Что он ответит? — молвил протопоп после долгого молчания. Глаза открылись, и показались они князю не голубыми, а черными. — Сказано Павлом-апостолом в Первом послании к Тимофею-листринину: «Уповай не на богатство неверное, но на Бога Живаго». И покровитель мой небесный, Мавсима Сирин, не о пище телесной заботился. Держал он в убогой своей хижине два сосуда: один с хлебом, другой с маслом. Всяк путник брал и ел, а сосуды те не оскудевали, их Господь наполнял. На то и нам уповать надо.

Добрыня только всплеснул руками да плюнул. Стал сызнава приводить доводы, еще красноречивей прежнего, но Ингварь больше не слушал.

— Спасибо тебе, отче, — сказал он, поднимаясь. — Пойдем, Путятич. Думать надо, где столько серебра возьмем.

* * *

— На Бога велел уповать, сосуды неоскудевающие помянул, — зло сказал боярин, когда вышли со двора. — А помочь церковной казной

не предложил. Есть ведь у мордатого серебришко, он давно на каменный собор копит.

Князь шел молча, лишь шевелил губами и морщил свой пятнистый лоб.

Он считал.

Больше всего Ингварь любил два занятия: читательное и цифирное, причем второе даже сильнее, потому что книг на свете мало, сызнава перечитываешь одни и те же, арифметика же с тобою по все дни — помогает не заблудиться в беспорядочном половодье жизни и никогда не обманывает. Трижды три всегда будет девять, а девятью девять — восемьдесят один, хоть бы даже разверзлась бездна и луна упала на землю. Подсчеты князь вел легко и быстро, с удовольствием, а числа запоминал прочно. В мире, где всё сочтено, и жить не так страшно.

Добрыня еще ворчал на пустословное поповское милосердие, а князь уже заканчивал подводить мысленные итоги.

— Сделаем так, — сказал он и начал загибать пальцы. Первым — большой, со вздохом. — Главный расход у нас — дружина. Ныне мы, как при батюшке, держим шестьдесят конных, на каждого в год по восемь гривен отдай. Это четыреста восемьдесят. Так? В крепости Локоть сидят восемьдесят пеших, брод стерегут. На них, со всем

припасом, две сотни уходит. Всего получается шестьсот восемьдесят. Так?

— Ну так, — настороженно смотрел на него боярин.

— Боле двух третей расхода на конную дружину уходит, а проку от нее мало. Сидят без дела, от скуки бражничают. Что одного овса на прокорм лошадям тратится.

— Меньше шестидесяти всадников нам иметь нельзя. Сам знаешь: по наряду Свиристель должен черниговскому князю, если большой поход, полсотни конных выставить. Всего десять остается дозорную службу нести.

— Мы вот как сделаем. — Князь загнул второй палец. — Оставим в конной дружине двадцать человек, прочих спешим. Тогда каждый будет ежегодно не в восемь гривен обходиться, а только в две. Двести сорок гривен сбережем. Погоди! — остановил он вскинувшегося Добрыню. — На двадцать гривен выкуем сто копий и щитов. Соберем сотню молодых мужиков, сильных. Обучишь их ратному делу. Сейчас для этого самое время. Сеять отсеяли, траву косить еще рано. Вреда для работы не будет. А топоры мужикам можно не давать, у всякого свой есть.

— Что будешь делать, если Всеволод Черниговский в поход позовет? Мужиков в лаптях пошлем? То-то сраму будет.

— Пошлем двадцать конных дружинников и восемьдесят пеших, из крепости. Пресветлый только рад будет: вместо пятидесяти воев получит сто. А ополченцев на ту пору посадим в Локоть, речной брод от половцев сторожить — ведь во время пахоты или урожайного сбора пресветлый в походы не ходит... Итак, двести двадцать гривен есть, больше половины выкупа.

Завернулся третий палец:

— Сорок боевых коней, какие освободятся, продадим князю остромскому, у него весной лошадиный мор был. Это еще восемьдесят...

Вспомнил про серебряное зеркало, оставшееся лежать в горнице. Дорогая вещь, гривен двадцать стоит. Поколебался — но не хватило духу. Вместо этого сказал, согнув безымянный:

— Остатнюю сотню займем в Чернигове у евреев, под пятину. Делать нечего.

— А половцы нападут? Как мы против них с двадцатью конными? — вскричал боярин, лицо которого от этих подсчетов сделалось багровым. — Ведь прознают!

— В этот год не нападут. Зачем им, коли чetyреста гривен получают? А когда с ростовщиками расплатимся, станем потихоньку выправляться.

— Нет на это моего согласия! — Добрыня не только ус дернул, но и ногой топнул. — Не по-

зволю! Не ты дружину ладил, не ты воинов одного к одному собирал, не ты коней растил, стройному бою учил! Отец твой, с неба глядя, кровавыми слезами заплачет. Не стал бы он ради Бориски-изгоя рушить свою конницу!

— Отец — нет, не стал бы. — Ингварь опустил глаза. Смотреть на гневного Путятича было жутко, перечить — того паче. Оттого голос князя сделался едва слышен. — Но князь теперь не отец, а я. И мне по-другому невмочь. Если попущу брата единокровного на части разорвать, кто я после этого буду? Как жить стану? Распорядись, Добрыня, чтобы дружинники жребий кинули, кому спешиваться. Объясни им. На тебя они роптать не посмеют... А мне надо в Радомир ехать. Солнце уже высоко. — Он посмотрел на небо и кисло прибавил: — Скорей всего, нынче вечером и вернусь. Ночевать там не останусь.





ПРО ЧУДЕСА КНИГОЧТЕНИЯ

До города Радомира, столицы соседнего княжества, ехать было в ту же сторону, куда катилось по небу светило — на запад. Дорога неближняя, но и недалняя, тридцать верст. Три часа рысью, на которой старый, но еще сильный Василько, буланый конь, оставшийся после отца, показывал себя лучше всего. Галопом долго скакать уже не мог, уставал, а ровной рысиной побейкой мог выстукивать по полям хоть целый день. Василько был рослый, видный, грудастый. Одна беда — на правом глазуросло бельмо. От этого конь норовил взять вбок и неладно выворачивал шею, приходилось все время оправлять уздой.

Бережно завернутое зеркало было пристроено на широкий круп. Там же — кожаный мешок

с нарядным платьем. Ехать Ингварь собирался в чем поплоче, чтоб не пылить хорошего кафтана, не протирать на сидалище бархатных портов, и так уже ветхих. Еще в мешке лежали красные сафьяновые сапоги с закрашенными киноварью пробелинами, отцовское, подшитое по росту корзно да оставшаяся после брата Владимира соболья шапка — она, наоборот, была маловата, только прикрыть макушку.

Уже сев в седло, князь с тоской оглядел двор, в котором вырос, — будто прощался с белым светом. Так оно, пожалуй, и было. Из-за Борисова письма он на время забыл о предстоящем терзании, а ведь сегодня прежнему существованию наступит конец. Всё будет то же, да не то. Краски полиняют, мир поблекнет, мечтания рассыплются серым пеплом. Такой же серой станет и жизнь.

Захотелось вернуться в терем, отправить Василька назад, в стойло.

Пересохло в горле.

— Попить принеси, — тихо сказал конюху.

Тот пошел к колодцу, зачерпнул воды, подал.

Спросил:

— Нешто вправду один поедешь? А то я быстро. Моя рыжая заседлана.

— Один...

Конечно, князю, даже невеликому, без сопровождения невестно, но слуги любопытны, болтливы. Сразу станет известно, зачем он в Радомир ездил и с чем вернулся. Да и на обратном пути лучше никого при себе не иметь. В одиночестве хоть наплачешься вволю.

Когда пил из ковша ледяную воду, вдруг вспомнил картинку из книги. Как княжич Трыщан и ясновласая Ижота пьют чашу с любовным зельем, которое приворожит их друг к дружке по гробовую доску. Посмотреть бы на ту картинку еще разок, чтобы прибавить себе храбрости, но книги уж нет.

Отец привез ее из Киева, подаренную кем-то из родичей. Том в переплете телячьей кожи никому в доме был ненадобен, и тринадцатилетний Ингварь забрал книгу себе. Сначала долго разглядывал цветные картинки. Там были морские ладьи, затейные терема, преужасные драконы, латные богатыри и не по-русски наряженные девы. Потом потихоньку стал читать. Писано было латинскими буквами, но о чем сказ — разобрать можно, непонятных слов мало, и они не мешали, а даже прибавляли волшебства. Должно быть, писец обитал в ляшской или чешской земле, где говорят почти по-нашему, только пишут иначе.

Ингварю понравилось и про короля Артиуша, и про витязя Анцолота, и про великого волхва Мерлуша, и про разные подвиги с чудесами, но самой любимой стала повесть о храбром Трыщане и княгине Ижоте, которые под воздействием чар так слюбились, что жизнь поврозь им сделалась хуже смерти. Всякий раз, когда Ингварь читал самое начало: «Не желаете ли, добрые люди, послушать прекрасную повесть о любви и смерти?» — у него замирало дыхание, а на глазах выступали слезы. Он раньше и знать не знал, что бывает любовь, ниспровергающая все преграды. Княжич стал мечтать, что тоже повстречает свою Ижоту. Они ничего на свете не устроятся, всё преодолеют и будут вместе — либо испустят дух, но разлучить себя не позволят. Второе мечтание, про единую смерть, почему-то было еще слаще первого.

Повсюду Ингварь высматривал, не обнаружится ли где ясновласая краса, на какую безошибочно укажет сердце. Однако откуда было взяться прекрасной Ижоте в захолустном Свиристеле?

Но сердце — оно такое. Если начнет чего-то жаждать, так вскоре и найдет.

На следующий год после того, как отец привез чудесную книгу, был съезд Ольговичей в

Чернигове. Пресветлый князь собрал весь обширный род, с детьми, с домочадцами — ради укрепления уз и единения.

И там, в огромном соборе, переполненном князьями, княгинями, княжичами и княжнами, Ингварь увидел девочку с сияющим ликом, с золотыми волосами ниже плеч. Раз только взглянул, и сердце крикнуло: она, Ижота!

Ее и звали почти так же: Ирина. Была она единственной дочкой западного соседа, князя Михаила Олеговича Радомирского.

Девочка устремленного на нее трепетного взгляда не заметила, к обомлевшему Ингварю ни разу не повернулась, но это было и не нужно.

Он каждую черточку сохранил в памяти и взлелеял. Смотрел на знакомые картинки, где у Ижоты лица почти что не было, только длинные желтые волосы, — и видел Ирину. Год за годом думал о ней, мечтал и тем был счастлив. Увидеть радомирскую княжну во второй раз не чаял. Где, как?

У отца с Михаилом Олеговичем, как и с другими соседями, не прекращались ссоры. Да если и увидел бы — что с того? Третий сын захудалого свиристельского князя не ровня и не пара радомирской наследнице. Радомир и больше, и

многолюднее, и богаче — потому что находится дальше от Степи.

На расстоянии вздохнуть по княжне Ирине было, пожалуй, даже утешительно.

...Но два года назад, когда умерли отец и брат, всё изменилось. На тризну и поминовение съехались соседи. Пожаловал и радомирский Михаил Олегович. Обнял, назвал «сыном», просил непременно в гости пожаловать.

Месяца два Ингварь трепетал — и алкал увидеть Ирину, и страшился. Вдруг она совсем не такая, как ему грезилось целых шесть лет? Может, она выросла и стала обыкновенной девицей. Власа потускнели, лик не сияет?

Не выдержал, конечно. Поехал.

* * *

И пропал. Пропал, как глупый свиристель, что сел на смолу и увяз коготками. Трепещет крылышками, рвется улететь — да ни с места, и уж сам понял, что ему пропадать.

Вырасти-то Ирина выросла, но обыкновенною не стала и сияния не утратила, а многократно прибавила.



Когда Ингварь княжну увидел впервые после давнего, детского любования — потемнело в глазах, так лучезарно блистала ее краса. Волосы сделались еще пышнее. Они были закручены золотыми локонами по сторонам тонкого белого лица, а в огромные, затененные длинными ресницами глаза Ингварь посмотрел — и, почувствовав, как вслед за взором тянется душа, испугался. Более встречаться взглядом с Ириной он не осмелился. Не смотрел на нее, а лишь подсматривал, коротко и боязливо.

Сама-то она на невзрачного соседа взирала равнодушно, уста размыкала редко. У русских не как у греков или половцев — женщин от гостей не прячут. Можно и беседу вести, и за трапезой вместе сидеть. Но при радомирской княжне Ингварь, и так неговорливый, сделался пень пнем: слова складного сказать не мог, кусок дорта не доносил, давился вином. Ей он, должно быть, показался недоумным.

Но ничего не мог с собой поделаться, повадился-таки ездить к Михаилу Олеговичу. Всякий раз, настрадавшись от Ирининой рассеянной холодности, давал себе зарок: всё, боле никогда. Но душа, как не желающая заживать рана, начинала саднить, тянуть, кровоточить, и он выдумывал предлог поехать в Радомир. Туда мчался быстрой рысью, обратно — шагом, повесив голову и проклиная свою несчастную судьбу.

Последний раз был давно, восемь месяцев назад. И тогда твердо порешил, что хватит, отрезано.

Ехал-то с надеждой, глупой. Подслушал, как в гриднице отроки друг перед другом похваляются победами над женским полом. Один, первый из всех ухарь, сказал, что девки и бабы все одинаки, любую можно взять, коль улестишь хо-

рошим подарком. Мысль была простая, но Ингваря поразила. Он-то на Ирину снизу вверх взирал, будто на облако небесное, а она ведь женщина, Евина дочь. Если что-нибудь дорогое подарить, может, станет поласковей?

Дорогих вещей у него было две: серебряное зеркало из материнского приданого и чудесная книга с картинками. Ингварь без колебаний выбрал книгу, главное свое сокровище. Потому что для любви надобно жертвовать самым лучшим. Так и Трыщан в повести говорит: «Недостоин любви тот, кто не стал пред нею нищ».

Восемнадцатого сентября, на Иренино тезоименитство, повез свой подарок.

В Радомире по случаю праздника оказались и другие гости — трое княжичей из сопредельных земель. Каждый вьется вокруг княжны, перья распушает что селезень перед уткой, в женихи метит. А Ирина весела, довольна, на щеках румянец — нравится ей.

У Ингваря сердце так и сжалось.

Опасней всего показался ему Володарь Северский. Хоть Ингварь был сам себе князь, а тот всего лишь княжий сын, но зато старший, и отчина — не пустяшный Свиристель, но богатое и сильное Северское княжество. Володарь вел себя

дерзко, над остальными насмешничал. Ингваря называл не иначе как «невеликим князем», что было вдвойне обидно, поскольку северянец был собою статен и чуть не на голову выше. Ирина тем шуткам смеялась...

Ее мать, княгиня Марья Адальбертовна, подлого Володаря тоже отличала. Сажала за стол между собой и дочерью, говорила с ним ласково, коверкая русские слова, — она была франкиня. А Ингваря называла шипящим словом «Таштэ», которое Бог весть что значит, но, верно, что-то нехорошее.

Горше всего вышло с книгой. Стали все именнницу величать, дары дарить. Липовецкий княжич поклонился собольей шубой. Мякининский — отрезом византийской парчи. Володарь поднес золотой с яхонтами гребень, сам вдел Ирине в волоса. Княгиня Марья руками всплеснула, по-своему затараторила, сама побежала за зеркалом. Оно было хуже, чем Ингварево — тоже серебряное, но меньше и тусклое. Вот когда он пожалел, что не тот подарок выбрал. Однако делать нечего. Подошел черед — волнуясь и трепеща, отдал свою драгоценность.

— Книга? — только и молвила княжна. Аксамитовый плат, в который был завернут дар, ее заинтересовал и то больше.

Володарь засмеялся:

— От невеликого князя невеликое и подношение.

Ирина книгу небрежно отложила на лавку. В то мгновение Ингварь и поклялся себе: отныне в Радомир ни ногой.

* * *

Продержался двести сорок семь дней — все считаны, каждый был терзанием. Дни-то еще ладно, забот невпроворот, но ночи давались тяжело. Сначала долго не сомкнешь глаз, всё о ней думаешь. А уснешь — мучают видения. То она его прочь гонит и смеется, то, наоборот, плачет и корит: что не кажешься.

Вся Ингварева душа была изъязвлена трехклятой этой любовью, словно больное дерево червоточиной.

И настала минута, когда он понял: так далее невозможно. Мечтаниям и глупым, непослушным надеждам должно положить конец. Возникла мысль — верная, но страшная. И понемногу проросла, созрела.

Надобно поехать в Радомир, попросить княжну Ирину в жены, получить отказ, притом обид-

ный, со смехом, и тогда уже навечно оскорбиться, затоптать любовный огонь в пыли. Конечно, от ожога будет больно. Но лучше скоротечное уязвление, чем многомесячная нескончаемая туга.

И больше о ней не думать, не тешиться грезами. Жить не глупым сердцем, а головой, которая, освободившись от морока, наверняка поймнеет.

Собирался-собирался и наконец собрался. Для сватовского дара взял последнее свое сокровище — зеркало. Вещь такая, что не стыдно и в великокняжеских хоробах повесить. Может, из-за нее откажут без лишнего глумления. Князь Михаил Олегович всё красивое и дорогое ценит. Обычай же был такой: если на сватовство отказывать с зазором, то подарок надо возвращать. Хочешь оставить — уважь жениха, не позорь.

Со стыдом уезжать или без стыда — вот весь выбор, к которому готовил себя бледный Ингварь, выезжая на своем одноглазом коне со двора.

На выходе из города, близ ворот, увидел размашисто шагающего Мавсиму. Должно быть, дозавтракав, тот шел в посад, где строили часовню.

И захотелось Ингварю на безнадежное его дело благословения. Хуже-то ведь не будет?

Догнал, спрыгнул наземь. Попросил.

— На что благословлять будем? — деловито спросил протопоп. — Чтобы помогло, я должен доподлинно знать. Опять же благословения разные бывают. Для больших дел — большие, для малых — малые. Если ты, князь, скажем, на охоту едешь, это одно. Если душа в смятении и ее умирить надо — совсем другое.

— Душа. В смятении, — прерывисто ответил Ингварь.

Тогда священник поглядел внимательно.

— Исповедаться хочешь? Тогда в церкву пойдем.

— Пойдем.

Можно было бы объяснить и без исповеди, Мавсима не разболтает. Но Ингварь знал: на таинстве протопоп будет не такой, как на улице.

В старом, деревянном, еще дополовецких времен храме рассказал, из-за чего страдает и на какое испытание едет в Радомир. Попросил отпустить грех женовожделения и, если возможно, — благословение на добрый путь.

Исповедник, помолчав, сказал:

— Ты, сыне, такой любовью не соблазняйся. Она неверная, обманная. Сегодня есть, завтра прошла. Люби всей душой одного лишь Христа, потому что Он тебе не изменит, разве что сам ты Его предашь. А еще помни, что государю, над

людьми поставленному, сильно любить женщину опасно. Ты со своим народом венчан Господним помазанием и не можешь княгиню любить больше своего княжеского долга. Поэтому не дам я тебе большого благословения, дам среднее. С тем и поезжай.

Но проговорил он это несурово. И понял Ингварь, что речь молвил не пастырь Божий, а добрый человек, в утешение. Знает, что князь вернется ни с чем, вот и стелет соломы.

Однако ехать за горькой чашей все равно было нужно.

* * *

Божий мир в мае месяце пригож и сладостен. Солнце, Ингварев попутчик в дороге на запад, светило ласково, пели-посвистывали полевые птицы, свежий ветерок игрался гривой Василька, но от всей этой легкости на сердце делалось еще тяжелей. Лучше б небо сочилось слезами - тогда князь не чувствовал бы себя таким покинутым, было бы его истоме от природы сочувствие. «Радуйся, смейся, — мысленно говорил равнодушному свету всадник, — что тебе до

меня? Своими прелестностями ты меня не обманешь. Жизнь моя грустна, и счастья мне не предписано, один лишь долг. За него и буду держаться...»

Терзания терзаниями, но взгляд по привычке внимательно озирает пашни, пастбища, когда попадались — деревеньки. Жилые места князь, правда, объезжал стороной. Не хотелось ему сейчас видеть людей, кивать на поклоны, отвечать на приветствия.

На своих землях всё было как тому следовало: что надо — посеяно и уже зеленилось всходами, что назначено под пар — отдыхало, стада щипали молодую сочную траву.

По ту сторону рубежа, на радомирщине, взгляд Ингваря хоть и остался цепким, но уже не по-хозяйски, а просто приметливо.

У Михаила Олеговича крестьяне жили по старинке: жито засевали напололам — одна часть поля трудилась, другая отдыхала. Это было незначительно. Свиристельские с прошлого года перешли на трехполье. По совету умных людей князь велел треть угодий отвести под овес и гречиху. Ныне многие так делают. Земля не только силу восстанавливает, но и прибыль дает.



А вот коровы радомирские были тучней и си-
састей свиристельских. Ингварь давно на них
облизывался. Мечтал, когда заведется лишних
полсотни гривен, купить у соседа быков для
улучшения породы. Теперь, с вирой за Борисла-
ва, про это, конечно, нечего было и думать.

Хорошая у Михаила Олеговича была отчина.
Почвы жирные, луга питательные, по чернигов-
скому шляху купеческие караваны ходят. А за-



видней всего, что половцы далеко. Можно большой дружины не держать, денег зря не расходовать. Вот бы таким княжеством владеть — то-то развернулся бы...

От такого поворота мыслей вновь потянуло на пустые мечтания — как вышло б ладно, если б и Ижоту-Ирину получить, и Радомирщину унаследовать. Только душу себе растравил и впал в еще большее уныние.

Деревни здесь были населеннее и стояли чаще. А когда показался стольный город, Ингварь вовсе насупился.

Стены Радомира поднимались чуть не вдвое выше, чем свиристельские, и хоть были тоже бревенчатыми, но укреплены каменными башнями. Главное — зачем им, в тихом этом краю?

Посады широко и беспечно расползались во все стороны. Еще за пару верст от города Ингварь вынул из мешка красное платье, переоделся и в ворота въехал нарядным, гордо подбоченясь, однако прохожие глядели на одинокого всадника в алом княжеском корзне без любопытства. Видали здесь гостей и пышнее.

Подворье у Михаила Олеговича было просторное, для чистоты посыпанное белым речным песком. Службы — каждая, как в Свиристеле княжий терем, а уж главный дом — словно царский дворец с картинки из книги, которой больше нет.

У конюшни Ингварь передал Василька слугам — сытым, мордатым, добротнo одетым. Сделал вид, что не замечает, как они с ухмылкой, перешептываясь, поглядывают на крутящего башкой буланого — тому одним глазом было трудно высмотреть, как тут и что.

Спросил:

— Из князей кто гостит?

— Никого с Пасхи не было, — ответил челядинец, не прибавив ни «княже», ни даже «господин».

Была у Ингваря робкая, трусливая надежда: если в Радомире окажется кто чужой, разговор о сватовстве будет не с руки, придется отложить на другой раз. А теперь деваться некуда...

— Веди к Михаилу Олеговичу. У меня до него дело.

— Нету князя. Поехал за посад, медуши смотреть. Княгиня у себя на половине. Желает к ней?

— Нет, — быстро ответил Ингварь. — Веди в горницу к князю. Подожду.

В Радомире его важной птицей не считали, сильно не церемонничали. Другой слуга, комнатный, одетый понарядней гостя, отвел его в залу и оставил там одного, даже пива с дороги не поднес.

Ингварь сел на резную скамью, рядом пристроил зеркало, с тоской посмотрел на узорчатые, расписанные зверями и цветами стены. Хоть бы Михаил подольше не возвращался.

В помещении от овчины, в которую был обернут сватовской дар, понесло кислятиной. Ингварь смутился. Развернул зеркало, шкуру ногой запихнул под лавку. Снова сел в приличной неподвижности, чинно положив руки на колени. Под

тесной собольей шапкой волосы начинали мокнуть от пота. Хотя князю в отсутствии равного по званию быть простоголовым неуместно, пока снял. Все равно ведь нет никого.

Но через некое время дверь приотворилась. Кто-то подглядывал снаружи в щелку. И не один человек. Донеслось шушуканье — кажется, женское. Ингварь схватился было за шапку, но шепот утих, створка прикрылась.

Прошло, может, еще с четверть часа.

Вдруг дверь качнулась. В проеме стояла девушка-служанка в широком, тонкого лазоревого сукна сарафане, с парчовой повязкой в обхват лба. Первое, что сделала — приложила палец к губам. Другой рукой поманила за собой. И отступила в полумрак, исчезла.

От удивительного этого видения Ингварь будто оцепенел. Послушно поднялся, пошел из залы. На полпути к двери спохватился, что зеркало осталось на скамье. Вернулся, взял под мышку. Мало ли что, вещь ценная. А про шапку позабыл.

В сумраке межкелейных переходов служанки было почти не видно. Она шла впереди, шелестела платьем, через каждые несколько шагов оборачивалась и всё так же безмолвно манила рукой. Ингварь следовал за девкой сам не свой, не зная, что и думать.

Трижды или четырежды повернули — Ингварь всякий раз брякал об угол ножнами меча и вздрагивал. Поднялись по лесенке. Миновали двухоконную галерейку, вознесенную над двором, — стало быть, перешли в соседний терем. Там еще повернули.

У закрытой невысокой двери с полукруглым верхом служанка наконец остановилась. Приблизившись, встал и Ингварь.

— Что здесь? — спросил он шепотом.

Вместо ответа девка толкнула дверь, а затем, ладонью в спину, мягко, но требовательно, подпихнула вперед и князя.

Он ступил через порог и в первый миг ослеп от солнца. А может, то было и иное сияние, ярче солнечного.

— Явился-таки! — сказал голос, от звука которого у Ингваря ослабели и задрожали колени.

* * *

Он и забыл, что Ирина выше ростом. Или, может, ему так казалось, когда они стояли рядом — всегда выходило, что он глядит на нее словно снизу вверх.

За долгие восемь месяцев княжна стала еще красивей, хотя куда уж? Кожа будто финифтяная. Невыразимо прекрасные черты — как нанесены небесным резцом по сердолику. Глаза же сейчас был полны сердитых слез, от которых лучились чудесным светом.

— Что это у тебя? — спросила Ирина всё так же гневно.

— Подарок... Тебе...

Он не столько протянул ей зеркало, сколько отгородился им. После разлуки смотреть на Ирину было невыносимо — рвалось сердце.

Замолчала. Должно быть, разглядывала себя.

— ...Хорошее. Лучше моего. — И отодвинула серебряную пластину.

Брови были по-прежнему сдвинуты, во взгляде обида. Ингварь не выдержал, отворотился.

— Ответь, пошто столько времени не приезжал?

В великой растерянности, не понимая, чем мог ее раздосадовать, он забормотал про тяжкую зиму, про многие хлопоты, даже ляпнул про недосуг — и тут княжна его перебила:

— Недосуг?! Он мне нужен! Я о нем по все дни думаю! А ему недосуг!

Да как всхлипнет, да как заплачет!

Ингварь потер глаза. Что за сон? Что за наваждение?

— В чем я виноват? — задрожал он голосом. — Когда ездил, ты была не рада... Перестал ездить — опять плох...

Ирина его не слушала. Давясь слезами, она говорила свое:

— Ты какую книгу мне подарил? Ты где ее взял? Я не знала, что такие книги на свете бывают... Я сначала картинки только смотрела... Но зимой скучно. Сидишь, сидишь... Стала читать... Про Ижоту, про Трыщана... Думала, где же витязя сыскать, чтобы так любить уметь?

Он замер, боясь пропустить хоть единое слово.

— Володарь Северский сюда всё приезжал. Я подумала — не он ли?

Ингварь прихватил зубами губу. Спросил сдавленно:

— И что?

— Велела прочесть книгу — не захотел. Прогнала дурака. На что мне такой? О чем с ним говорить? После, на Рождество, наведалься Изяслав, третий сын черниговского князя. Батюшка мне его нахваливал. Всем-де женихам жених. А Изяслав букв латинских не знает, у него одни лошади на уме. Тогда я стала про тебя думать. Вот, думаю, с кем про Трыщана и Ижоту поговорить можно. А ты будто сгинул, носа не кажешь... Ох, и злилась я на тебя!

Ирина уже не плакала, только еще пошмыгивала. Глаза покраснели, и кончик носа тоже, но все равно она была несказанно прекрасной.

— Ты сам-то книгу читал? Или так просто подарил?

— Я ее наизусть знаю. «Не желаете ли, добрые люди, послушать прекрасную повесть о любви и смерти?»

— Да-да! — вскричала княжна и продолжила: — «А коли желаете, вот вам печальный рассказ о том, как доблестный витязь именем Трыщан и ясновласая дева именем Ижота полюбили друг друга больше жизни, тем победив людскую ненависть и посрамяв самое смерть...»

— «...потому что любовь сильнее ненависти, а жизнь сильнее смерти», — закончил вместе с ней Ингварь, тихонько.

— Тогда объясни мне, я желаю знать! — Ирина схватила его за рукав. — Да положи ты зеркало. Пойдем к окну сядем... Объясни мне, как это Трыщан, свою Ижоту любя, на другой, на второй Ижоте поженился? А ведь клялся! Неужто ему английского князя Говеля, второй Ижоты отца, было стыдней обидеть, нежели клятву, данную любимой, преступить?

— Сам не знаю. Я бы лучше умер.

— Правда? Правда? — воскликнула княжна, и на ее белых щеках проступил румянец. — Вот и я бы скорее умерла, чем с нелюбым жить!

Ее лицо вдруг стало расплываться — это на глазах у Ингваря выступили слезы.

— Вижу, что правда. Ты плачешь... — прошептала Ирина и тоже заплакала.

Они сидели бок о бок, смотрели друг на друга, и он всё пытался унять слезы, но не мог. А она и не пыталась.

— Матушка говорит, ты некрасивый. Дразнит тебя «Таште», «Пятнистым», — сказала Ирина. Сначала сама утерлась шелковым рукавом, потом и ему глаза промокнула. — А у тебя очи синие. Лицо ясное. Посередь лба словно звезда багряная лучится. Поменялся ты, что ли? Или я тебя прежде толком не видела? — Ирина вдруг забеспокоилась. — Может, и я переменилась? Лучше я стала или хуже?

Сжав кулаки — приближалось страшное, — Ингварь поднялся.

— Лучше тебя я никого в жизни не встречал и не встречу. С тех пор как первый раз тебя увидел восемь лет назад, только тобой одной живу. Не знаю, кто тебе будет Трыщан, но ты мне навек Ижота, и другой мне не надобно.

Она тоже поднялась.

— Ты говоришь, как в повести... Еще!

— Сказал, как есть. А прибавить не знаю что... Помолчали.

— Там, в книге, девам руки целуют, — мечтательно улыбнулась княжна.

— И я б твою поцеловал. Потом всю жизнь бы помнил.

— Так на́, не жалко.

И протянула раскрытую узкую ладонь. Ингварь прижался губами к самой серединке. Едва не задохнулся от аромата нежной кожи. Ирина же слегка погладила его по затылку.

— Совсем как на картинке, где Ижота, Трыщан и единорог! Только единорога нет...

Он выпрямился.

— Я что нынче приехал, подарок привез... Я тебя сватать приехал. Не пойдешь за меня? Скажи сразу, я тогда прямо сейчас и уеду.

— Уедет он...

Ирина пошла к столу, взяла зеркало, поставила на ларь, прислонив к стене.

— Ну-ка, встань рядом со мной на коленки.

— Зачем?

Однако встал — как и она.

— Гляди на нас с тобой. — Княжна показала на зеркало. — Ингварь и Ирина. Трыщан и Ижота. Похожи? Проси меня у отца. Я согласна.



Румянец на ее щеках запунцовел пуще прежнего, а Ингварь зажмурился. Пускай бы и сон, сказал он себе. Лишь бы не просыпаться.

— Не отдаст ведь...

— Скажу, что хочу, — отдаст. А нет — убежим. Будем, как Трыщан с Ижотой, в лесу жить.

— Здесь нигде и лесов настоящих нет, — возразил Ингварь. Они так и остались стоять на коленях. — Можно, конечно, на север уехать, но

как ты станешь в лесу жить? Ни поесть, ни от бури укрыться. Скоро комары пойдут — живьем съедят.

— Это правда. Не умоешься, волосы не расчешешь... — Княжна задумалась. — А мы давай вот как. Ты сегодня батюшку проси. Он, конечно, откажет. Ему свиристельского князя в зятя мало. И ладно, поезжай восвояси. А я плакать начну. И не перестану, пока он не уступит. Куда им с матушкой деться? Измором возьму. А как начнут поддаваться — пошлю тебе весточку. Прав ты, нечего нам по лесам бегать. Давай лучше про то говорить, как Трыщан в англской земле по Ижоте тосковал, а она по нему...

Но про это поговорить не успели.

Сунулась в дверь давешняя девка:

— Княжна, батюшка на двор едет!

— Иди, мой Трыщан, — сказала тогда Ирина торжественно, будто отправляя на бой с трехглавым змеем. — Буду за нас Бога молить.

* * *

Лишь в трапезной, уже сидя за столом, Ингварь спохватился, что зеркало-то надо было дарить родителям. Так и по обычаю положено, и

княгиня Марья Адальбертовна, глядишь, подобрела бы от богатого подношения. А то сидит, губу нижнюю кривит, так же криво и смотрит. Удивительно даже, как столь лиценеприятная особа могла произвести на свет несравненное совершенство. И ведь, если присмотреться, даже похожа! Но волосы не золотые, а желтые. Лик не тонок, а костляв. Глаза тоже большие, однако ж лучше бы поменьше — пучит, будто сова лесная.

Но Ингварь был готов полюбить и франкиню, коли станет ему вместо матери. Бог даст, и теща со временем сменит гнев на милость. Стоило ему мысленно произнести слово «теща» — и вдруг сделалось ясно, что ничего этого не будет. Не станет Ирина ему женой, а ее мать тещей. Не может такого стать, ни за что на свете.

Он наклонил голову к мисе, в которой переливалась кружками прозрачного жира курья похлебка, и понял, что духу завести разговор о сватовстве у него не хватит.

— Не ешь совсем, оттого и лядаший, — добродушно укорил хозяин. — Кости да мослы. Не по-нашему оно, не по-русски.

Сам-то Михаил Олегович кушал от души. Был он дороден, толсторыл. Концы длинных сивых усов перед ужином нарочно закрутил за уши, чтоб не мешали. С подбородка тройной складкой



свисали брыли — князь в молодости жил в плену у ляхов и приучился там бриться. В плену же нашел и жену, дочь франкского боярина, служившего у Казимира, краковского князя.

Почему-то с давними супругами всегда так, подумал Ингварь: если одного ведет в мясо, то другого непременно в сухоту. Неужто и у нас с Ириной через тридцать лет так же будет?

И опять вздрогнул, вжал голову в плечи. Взял кус ситного хлеба, какой дома подавали только по большим праздникам. Помял, отложил.

Принимали Ингваря без важности — не то что именитых гостей. Посуду поставили глиняную, не серебро со стеклом, и скатерть стелить,

как ныне заведено у больших князей, не стали. Кушанья тоже были обычные, повседневные, однако таких в Свиристели и на рождественскую трапезу не подавали. Похлебки, мясы-рыбы разные — это ладно, но сбоку на малом столике, по новому нерусскому обычаю, ждали своего часа сладкие заедки, всё непростые: белый сахар кусками, вяленый виноград, коржи с цукатами. Слуги наливали из кувшинов не мед — красное венгерское вино с пряностями.

Разговор был пока что хозяйственный. Михаил Олегович похвалил соседа за рачительность и бережливость. Выспросил, сколько засеяно ржи, пшеницы и проса, да хватит ли муки до урожая. Потом осторожно, с добродушным видом, предложил мену: уступить выпасы на Савицких лугах взамен права рыбной ловли по всему совместному рубежу. Ингварь знал, что невыгодно, но согласился.

Радомирский князь залучился, стал сам подливать вина. «Пора! Самое время!» — сказал себе Ингварь. Но поглядел на Марию Адальбертовну, псицу грызливую, и снова оробел.

— Быков покупать у меня не надумал? — спросил хозяин. — Недорого возьму. По гривне.

— Нет, в этом году не выйдет...

Про выкуп, который надо платить Тагыз-хану, Ингварь, конечно, рассказывать не стал. Тогда всё дело, без того утлое, потопишь. Но вдруг стукнуло: а ведь после такого разорения и свадьбу не справишь, и молодую жену достойно не примешь! Не селить же царевну небесную в нынешнем постыдном тереме, где из щелей дует и в сильный дождь крыша протекает? А на какие деньги новые хоромы ставить?

Дальше пришла мысль того хуже — аж в холодный пот кинуло.

Борислав ведь — старший! Ну как, вернувшись, скажет: мое княжество?

Еще нынче утром, когда не было надежды на успех сватовства, Ингварь только бы обрадовался — сам бы стал брата просить об избавлении от тяжелой ноши. Но теперь всё переменилось. Ирина согласна! Однако если «невеликий князь» для радомирской княжны — пара худая, то что говорить о женихе вовсе безземельном?

«Сделать, как наказывает Добрыня. То есть ничего не делать. Будто не было письма. Не выкупать!» — шепнул разум. Сердце, чрез которое проходит леска, коей Христос рыбарит челоуэчы души, захотело ужаснуться, но тут в трапезную, скромно опустив очи, вошла княжна, и

сердцем завладела сила помощнее совестливой богобоязности.

— Э, Ирина пожаловала, — удивился Михаил Олегович. Видно, своенравная дочь не часто баловала родителей совместным столованием. — Садись, сладкого поешь. У нас видишь кто — соседushка.

Волшебная краса чинно поклонилась, метнула исподлобья вопросительный взгляд, означавший: «Неужто не сказал еще? Пошто так долго?» Должно быть, извелась ждать.

Марья Адальбертовна одним углом рта произнесла что-то по-франкски: «*Тон Таште...*», — а дальше не разобрать. Должно быть, насмешливое, для Ингваря обидное.

— Батюшка, не буду я сладкого, — ангельским голосом сказала княжна. — Матушка, голубушка, не пожалуешь ли ко мне в светлицу? Атласы, что купцы привезли, выбрать нужно. — И тоже присовокупила что-то франкское.

Княгиня, не удосужившись спроситься у супруга, а на гостя и не поглядевши, поднялась. Обе вышли, но напоследок Ирина посмотрела на Ингваря еще раз. Коротко, но со значением.

И теперь он понял, зачем она приходила. Догадалась, что при матери ему говорить о деле будет вдвое трудней, — вот и увела злыдню.

Князя остались наедине. Слуги стояли поодаль, у стены, в ряд. Если говорить негромко — не услышат.

Ингварь набрал в грудь воздуха — и промолчал.

«Что с Борисом делать будешь? Решил?» — спросил требовательный разум.

А сердце трепыхалось, желало сорваться с Христовой лески, уйти в манящую глубину.

Михаил Олегович, отпив из кубка, подпер толстую щеку кулаком. Хитро подмигнул:

— Ну, сосед, зачем пожаловал? Я тебя знаю. Без дела ты не едешь. При княгине не хотел сказать? Говори теперь.

Открыл Ингварь рот — и снова закрыл. Руки, спрятанные под стол, мелко дрожали.





ПРО ДАЛЬНИЕ СТРАНСТВИЯ

Из степей дул жаркий, сухой ветер. Трава стояла еще зеленая, не высушенная солнцем, но воздух был уже не весенний — горьковатый, усталый. Над землей носилась серая пыль.

Из-под руки, настороженно, Ингварь смотрел на противоположный берег. Условились сойтись в полдень здесь, у речного переката. По десять человек. Без луков.

Позади, в густом ковыле затаились стрелки из крепости — на случай половецкого вероломства. Но и поганые, надо думать, явятся не вдесятером. На той стороне овраг, где можно хоть сотню конных спрятать.

В диком поле уговорам не верят. А кто поверил, тех давно в живых нет.

— Вон они, — сказал Добрыня — спокойно, но палец потянулся к усу. Боярин знал половецкие повадки лучше, чем кто бы то ни было. Поэтому под белую рубаху надел кольчугу, и Ингварю велел сделать то же.

— ...Только шестеро, меньше условленного, — посчитал медленно приближавшихся всадников князь. — Едем?

— Я один. Ты жди знака.

Пуятитч тронул поводья, въехал в реку. Вода дошла до стремени его вороного коня и выше не поднималась. А к августу брод совсем обмелеет — хоть гони через реку вскачь.

С другого берега, горяча и покручивая низкорослую лошадь, навстречу спустился тоже один, в косматой шапке.

Остановились, заговорили.

Вот Добрыня обернулся, дважды махнул. Это означало, что надо показать серебро.

Дружинник вывел вперед коня, груженного казной. Два мешка, в каждом по двести гривен, тяжело звякали.

Половец вскинул ладонь: стой, где есть. Хлестнул нагайкой по крупу, в несколько мгновений вылетел на эту сторону.

— Сюда ссыпай, — сказал он по-русски и кинул наземь вынутую из-за седла коровью шкуру. — Считать буду.

Лицо у степняка было обыкновенное, половецкое: плоское, с узкими глазами, кожа смуглая, усы — два крысиных хвоста. Одет, как все они, в рвань. У поганых наряжаться не заведено, невоинское дело. Чтобы понять, важный человек или нет, надо не на платье, а на оружие смотреть и на лошадь.

Лошадь была точеная, с маленькой змеиной головой — за таким скакуном не угонишься; рукоять сабли серебряная; стремяна тоже. Видно, что не рядовой ханский дружинник-ланган.

Половец кошкой, мягко, прыгнул. Стал доставать из мешка блестящие бруски. Некоторые кусал зубом — проверял, серебро ли. Укладывал кучками по десять штук.

Поехал через реку к дальнему оврагу и Добрыня — проверить, вправду ль привезли Борислава. На краю балки остановился.

У Ингваря быстро колотилось сердце. Если какой обман — Путятич коснется рукой затылка. Тогда быть сече.

Но боярин развернулся, порысил обратно к реке. Значит, брат там.

Немного отлегло.

Проверяльщик опорожнил первый мешок, взялся за второй. Дело пошло быстрее — приновился.

— Три гривны еще дай, — сказал он, закончив, и поглядел на Ингваря острым, будто не человеческим, а волчьим взглядом.

— Чего это? Сорок кучек, по десять гривен в каждой.

Степняк ловко завязал углы шкуры. Крякнув, поднял ношу, которая была больше его собственного веса. Дружинники переглянулись — ох, жилист, вражина. Лошадь, даром что маломерка, под тяжестью даже не присела. Известно: половецкие кони выносливы, крепки.

— За что три гривны? — сердито повторил Ингварь — и едва удержался в седле. Половец свистнул в два пальца так оглушительно, что спокойный Василько шарахнулся.

Из оврага медленно, трудно выкатила повозка, запряженная парой. В ней лежало что-то, сверкавшее на солнце, — издали не разглядеть что. А потом так же медленно выплыл всадник на исполинском коне, каких Ингварь еще не видывал. Четверо половцев, окружавших богатыря, на своих лошаденках казались игрушечными.

— Два коня и повозка. — Проверяльщик показал три пальца. — Три гривны.

— Не нужны нам ваши кони. И повозка не нужна.

Ингварь щурил глаза, смотрел на огромного всадника: он, не он?

А Добрыня был уже близко. С плеском пересек реку.

Сначала остановил половца:

— Погодь. Он к броду подъедет — тогда и ты.

Потом кивнул Ингварю: обмана нет. Лицо у боярина было хмурое. Кажется, он до последнего надеялся, что степняки брешут и никакого Борислава с ними нет. Сечи-то боярин не страшился.

Богатырь поравнялся с половцами, ждавшими на том берегу, направил своего чудо-коня в воду. В самом глубоком месте она едва доставала гнедому великану до колен.

— Братуша, ты? — раскатился над рекой звучный голос. — Ох, вырос!

— Стой! Куда? — крикнул Добрыня, но Ингварь ударил Василька каблуками в бока, поскакал навстречу.

Мимо с топотом, с брызгами пронесся половец, увозя серебро.

Сошлись с братом посреди брода. Обнялись. Вблизи стало видно, что исполином Борислав кажется из-за своего конищи, который был много выше и шире немаленького Василька.

Если брата в плену и мучили, то, видно, не очень сильно. Лицо у него было румяное и гладкое, за шесть лет нисколько не постаревшее. Под усами, диковинно загнутыми кверху наподобие двух половецких клинков, сверкали сахарные зубы.

Ингварь и забыл, какой Борис красивый. Первая жена у отца была половчанка, но светло-волосая, потому что приходилась дочерью венгерской королевне и внучкой австрийскому херцогу. От перемешения многих кровей брат получился молодцом на загляденье. Глаза синие — в отца, кудри светлые — в австрийскую прабабку, усы черные — в половецкого деда, нос соколиный — в деда венгерского.

Одет Борис был не по-русски и не по-степному, а диковинно: плоской лепехой бархатная шапка, из которой торчит пышное перо неведомой птицы; кафтан с длинными разрезными рукавами; сапоги выше колен, с острыми шпорами. У пояса с одной стороны прямой германский меч, с другой короткая кривая сабля. Зачем — непонятно.

Крепко взяв младшего брата ладонями за щеки, Борис повертел Ингварю голову так и сяк. Расхохотался:

— Ну, здравствуй, Клюква. Уж не чаял, что на этом свете свидимся.



Улыбнулся и Ингварь. В самом деле — когда-то Борис звал его этим смешным прозвищем: Клюква.

Вспомнилось из детства. Борис сидит в саду, как всегда окруженный приятелями. Едят из лукошка малину, чему-то смеются. Маленький Ингварь поглядывает издали. Старший брат на него никогда не обращает внимания, в свой круг не зовет. Вдруг — о чудо — Борис манит рукой. «Эй, Клюква! Ягод дать?» Сам не свой от счастья, Ингварь бежит. Малины ему не хочется, но радостно, что позвали. Подбежал. А Борис ему, с оттяжкой, щелчок по середке лба. «У тебя своя клюква, ее и жри!» Больно. Мальчишки

гогочут. Ингварь, потирая лоб, плетется обратно...

— Ты косоглазым три гривны-то дай, — сказал Борислав, поглядев назад. К тому берегу как раз подъезжала повозка. — Там наши латы. Тяжелые, без телеги не увезем.

— Чьи «наши»? — удивился Ингварь.

— Мои и Роландовы. — Брат потрепал своего коня по могучей холке. — На Руси таких доспехов ни за какие деньги не сыщешь. Они и там-то редкость.

И поехал к берегу, уверенный, что желание будет выполнено.

Закричал:

— Здорово, Добрыня! Здорово, соколы! Как вам под моим братом, князем Клюквой, проживается? Не кисло?

С каждым обнялся, каждого назвал по имени, да еще про родню спросил. Оказалось, всех помнит.

И стало, как в детстве. Борис окружен людьми, там смех и оживление, а Ингварь поодаль, один.

Гривны-то лишние у него с собой были. Захватил на случай, если половцы заметят среди брусков крашеную медь. Десятая часть гривен была фальшивая. Но половец прохлопал, не те на зуб кусал.

Пока брат балагурил с дружинниками, Ингварь расплатился за повозку. Степняки сразу повернули коней и помчали от реки прочь. Видно, тоже были рады, что обошлось без драки. Еще б им не радоваться — такая пожива! Не во всяком набеге столько добудешь.

В телеге горой лежали щитки и пластины полированной стали. Как всё это надеть и на ногах устоять — загадка.

— Поворачивай! Домой едем! — крикнул Ингварь.

Пришлось повторить приказ еще раз, громче. Только тогда услышали.

* * *

По дороге снова оказались вдвоем с братом. Ехали бок о бок, опередив всадников и стрелков.

— Жутко, поди, было, когда Тагыз пригрозил тебя конями разорвать? — спросил Ингварь, глядя снизу.

Когда Борис оказался рядом, живой и целый, сделалось стыдно своих сомнений: выкупать или не выкупать. Уберег Господь от греха страшного, какого себе по гроб не простишь.

Брат засмеялся:

— Ну, про коней-то я придумал, для жалости. Чтоб ты меня поскорей вызволил. Как бы Тагыз стал меня казнью казнить, если мы с ним двоюродные, от одного деда? Надоело мне, братка, кобылье молоко пить да жилистую баранину жевать. Я ведь в плену почти два месяца. В битве под Адрианополем взяли меня половцы из другой орды и перепродали Тагызу, как он мне родич. Двадцать коней Тагыз за меня отдал. Нашего брата, рытарей — по-вашему, именитых мужей, — под Адрианополем много захватили, так что стоили мы недорого.

Хотел Ингварь спросить, что за битва такая, кого с кем, но как услышал про выкуп — ахнул.

— Двадцать коней? Это ж двадцать гривен всего! Ладно бы Тагыз с меня пятьдесят потребовал или даже сто. Но четыреста?!

— Он и хотел просить сто. Но тогда не отдал бы Роланда и латы, — ухмыльнулся Борис. — А они мне дороги. Говорю ему: ты потребуй со Свиристеля вчетверо, но коня и доспехи отдай.

Ингварь потерял дар речи. Лишние триста гривен плачены за лошадь и грудку железа?! Да на такие деньжищи можно было бы столько всего сделать, купить, построить!

— Не отставай, Клюква! Едем! — беспечно позвал брат. — Я тебе про свои странствия расскажу. Слушай.

И начал рассказывать, да так увлекательно и складно, что Ингварь на время забыл про триста гривен.

— Бежал я от батюшкиного тиранства со своими друзьями сам-четвертый, но зато все одвуконь, а в ларце у нас было золотишко. Сначала гнали борзо, боялись погони, но за Черниговом поехали покойно, весело. Стали к нам люди приставать, кому скучно. Золото скоро кончилось, но мы не горевали. Где купчишек перехватим, где деревеньку потрясем. Когда у меня набралось до сотни копий, стали мы и к городкам подступаться — это уже в Галицкой земле. Там все промеж собой грызлись, ни от какой власти доуки нам не было. С городком я как делал? Встанешь у запертых ворот, кричишь: «Выносите серебра столько-то, мяса, муки, меда! Не то начнем огненные стрелы пускать, погорите к бесам!» Обычно выносили. А не вынесут — ну, мы дальше едем. Жечь никого не жгли, стрел было мало.

Борислав хохотнул, а Ингварь подумал, что с таким воеводой лихим людям, наверно, жилось сытно, пьяно, задорно.

— Погуляли по Галичине, по Волынщине, пока нас оттуда не погнали. Убрался я к венграм. Там королем — Имрий, мне по матери двоюродный. Принял честь честью, зачислил в свое войско. Плохого про венгров не скажу. Люди они легкие, до вина охочие. Бабы чернявые, на ласку горячие. Пожил я у Имрия, погулял. Только скучно стало. А тут римский папст объявил Крестовый поход, спасти Святую землю от неверных сарацинов. Я к той поре без гроша сидел, дружине платить нечем, того гляди разбежится. Но Имрий меня и снарядил, и серебром снабдил, и припас в дорогу дал. Даже латы свои, вот эти, на прощанье подарил. Такие мало у кого есть. Правду сказать, надоел я двоюродному своим шумством. Рад был меня спроводить.

— Ты пошел под латинским крестом? — ужаснулся Ингварь. — Да как же это? У них вера другая!

Рассказчик подмигнул.

— Всей разницы — слева направо креститься.

И ловко, как кошка лапой, обмахнулся с левого плеча на правое, потом от лба до пупа.

— Иисусу не всё одно? Ты слушай дальше. Быстро сказывается, не скоро дело делается. Про то, сколько и где меня по чужим краям

носило, говорить не стану. Всякое было: где сытно, где голодно; где густо, где пусто. В конце концов посадили всех нас, воинов креста, на веницейские корабли, и повезли. Но не к Ерусалиму, а к Цареграду. Греческий царевич Алексей попросил помочь против его дяди-кесаря, который родного брата со стола прогнал и глаза ему огнем выжег.

Ингварь охнул, покачал головой на изуверство. Родному брату — глаза выжечь! Прямо как у нас на Руси, а еще цареградцы, близ патриарха живут.

— Эх, что за город Цареград! Стоит на синем-пресинем море, сам преогромен, купола золотые сияют, стены — до облаков. Мы как эту сласть увидали, и про Святую землю, и про Гроб Господень позабыли. Кинулись, будто мыши на зерно, никакой силой было не остановить. Взяли Цареград на меч. Убитых ни чужих, ни своих не считали, прямо по мертвякам лезли. Ох и погулял я там, братка, ох и разжился добром! Девочек к себе в лагерь брал только самых красных, с большим разбором. Каждая — пава!

— Кто? — спросил Ингварь, глядя на Бориса широко раскрытыми глазами.

— Пава. Птица такая райская. Хвост — будто из парчи, расшитой смарагдами и яхонтами.

У меня потом, в моем контё, таких шесть штук по саду гуляло.

Не поспевая за рассказом, младший брат опять спросил:

— В каком-таком конте?

— Это вроде княжества. Когда в Цареграде сел наш крестоносный император Балдуин Фландрский, стал он щедрой рукой раздавать греческие земли самым доблестным рытарям, кто в деле отличился. И получил я в отчину княжество Коринфское, в Ахейском краю. А сам я сделался конт — вроде нашего удельного князя. Эх, братка, до чего ж хорошие там места! Не наш Свиристель. Градец мой Коринф был весь каменный, крыши красные. Дороги мощеные. Да церквей, да монастырей! Плоды всякие растут. Ягоды-винограда что здесь гороху. Вина столько, что воду я вовсе не пил... Но, если правду сказать, у себя в тамошней отчине бывал я редко. Все больше при Балдуине, в Цареграде. Вот где жизнь была! Что ни день — игрища, ристалища, пиры, музыки разные.

От приятных воспоминаний Борис даже зажмурился.

— Жаль, недолго погуляли. Прошлой зимой пошел на нас болгарский царь Калоян, с ним половцы. Балдуин наш орды никогда не видывал.

Думал, железными конями по полю растопчет. Собрались мы в поход, не дождались подкреплений. У меня в дружине пятьсот копий! Еду впереди на Роланде. Сверху знамя, шеломы сверкают, трубы трубят, барабаны бьют. Знатно!

Здесь Борис распрямил плечи, обернулся в седле. Сзади было пусто. Лишь вдали поднималось пыльное облако — там Добрыня вел свой невеликий отряд.

И скис конт коринфский, скомкал конец рассказа.

— Дальше что... Побили нас под Адрианополем. Глуп оказался Балдуин. Сам сгинул и нас всех погубил. Кого на поле не поубивали, те в полон угодили. Эх, не видать мне больше моего Коринфа... — И заплакал.

* * *

Но горькие воспоминания и сожаления мучили Бориса недолго. Слезы высохли так же быстро, как и пролились. Вскоре брат запел разухабистую песню на неведомом наречии, а когда добрались до Свиристеля, сделался шумен — залиvisto хохотал, радовался всему, что видел. Горожане сбегались на него поглазеть. Некоторых

он узнавал, шутил с ними. Пока доехали до подворья, обросли целой толпой.

Ингварь думал, что дома они сядут вдвоем и поговорят начистоту, как подобает братьям, о том, как жить совместно. Надо же было понять, станет ли Борис настаивать на старшинстве и первородстве. К непростой беседе Ингварь подготовился, заранее разложил на столе пергаменты. Там цифирь с приходом, расходом, с росписью населения и многое другое, важное. Честно сказать, была задняя мысль, она же надежда. Что Борис, ни к какому прилежному делу не привычный, хозяйством никогда не занимавшийся и не интересовавшийся, увидев мудреные грамоты, испугается и князем быть не захочет. Тогда надо будет сделать предложение, честное: я-де буду править как прежде, а ты возьми на себя дружину, ополчение, крепость. Грянет война — станешь первым князем, а я при тебе вторым.

Только никакого разговора не получилось.

Поглядев на стол с бумагами, Борис и садиться не стал.

— Брось, Клюква. Как жили без меня, так и живите. Сам посуди, какой из меня князь? Устал я от странствий. Отдохнуть хочу.

У Ингваря от облегчения и родственной приязни повлажнели глаза. Даже обнял брата. Тот

потрепал ему волосы, щелкнул по лбу — не больно и обидно, как в детстве, а легонько.

— Ничто, Клюква. Сживемся. Скучать со мной не будешь.

Что скучать не придется, Ингварь скоро понял.

В повседневные дела и распоряжения Борис не вмешивался, это правда. Но вел себя по-хозяйски. Что было нужно, брал без спросу. Слуг и дружинников гонял по своей прихоти, не считаясь с тем, заняты иль нет. И что удивительно, его приказы, даже самые нелепые, охотно исполнялись. Было в Борисе нечто, притягивавшее людей.

На второй день по прибытии он удумал ловить на реке рыбу длинным неводом, как делают в греческой земле. Самолично ездил по городу, по всем дворам, велел нести сети, у кого есть.

Тихий Свиристель пришел в движение. Под веселый Борисов покрик сцепили длиннющий невод в двести локтей. С гамом, толкотней поволокли на реку. Тащили сеть человек двадцать, а поглядеть на чудо собрался весь город, и еще из ближних сел набежали. Работать в тот день никто не работал.

Перекрыли Крайну неводом от берега до берега, стали тянуть. Улова никакого не было, по-

тому что от великого шума вся рыба уплыла прочь, но повеселились знатно и потом еще много дней ту забаву поминали, тем более что Борис велел рыбакам — у брата не спросясь — выставить из княжьего закрома хмельного меда «на просушку». Шесть бочек! Каково?

Блудного княжича как-то очень уж быстро полюбил весь город. Еще бы! Борис не то что Ингварь: с людей ничего не требовал, на работы не назначал, только шутки шутил да смеялся. Кому чарку поднесет, кого подарком подарит. А лучше всего заладилось у него с дружинниками. Те за Борисом повсюду ходили, как собачья свора за вожакom. Остановится он посреди двора с кем-то одним поговорить — глядишь, вокруг уже все скопились, слушают.

Ингварь раз тоже подошел и поначалу недоволен был, что дружинники на него, князя, лишь коротко обернулись, но потом сам заслушался.

Борис говорил, какое милое житье было в Цареграде при дворе императора Балдуина. Как рытари, тамошние старшие дружинники, тешились лихими игрищами — турнирами. Бились тупыми копьями конно, а незаточенными мечами — пеше, и государь победителей жаловал, а красны девы награждали их лентами и цветочными венками.

Потом стал рассказывать про Адрианопольскую битву, где Балдуин и все его удалые витязи полегли под болгарскими мечами и половецкими стрелами.

— Наших рытарей было семь сотен, и пешей рати тысяч десять. А царь Калоян вывел на поле тьму-тьмушую, тысяч до сорока. Но мы не уstraшились. Устремились на них с трубами, с кличками — у каждого рытаря свой. Топот, земля дрожит. Болгары — в стороны, половцы наутек. Мы за ними! Но у поганых кони легкие, у нас тяжелые. Стали мы в погоне растягиваться. Кто быстрее скачет, кто медленнее. Тогда половцы начали назад заворачивать, передних из седла арканами вынимают. Дело плохо. Кинулись мы назад — а болгары сызнова сомкнулись, копья выставили, не пропускают. И стрелы дождем сыплются — спереди, сзади.

Дружинники слушали, насупив брови, затаив дыхание. Многие бывали под половецким стрельным дождем — знали, каково это.

— Ну, стрелы-то рытарю, если доспех хорош, не страшны. Стучат по латам, словно град, да ломаются. Вот аркан дело иное. Меня, как многих, той подлой веревкой и взяли. Сдернули, будто рыбу лесой. А доспех тяжеленок. Сверзся наземь, без чужой помощи не встанешь. Так и угодил в

полон. Эх, — вздохнул Борис, — дурак я был. Это я уж после придумал, как латному рытарю от арканов отбиться. Показать?

— Покажи! Покажи! — зашумели дружинники.

Дальше было еще интересней.

Борис приказал заковать своего богатырского коня в особые лошадиные латы, свисавшие чуть не до самой земли. Роланд, и без того огромный, сделался похож на сказочное железночешуйное чудище. Облачили в иноземные доспехи и княжича. Шлем — навроде ведра: лицо всё закрыто, только впереди прорези для глаз и малые дырки — дышать, а поверху два загнутых бычачьих рога. На плечах стальные полукружья, вся грудь прикрыта сплошной пластиной. Такие же по бокам и сзади. На бедрах ребристая, стальная же юбка. Ниже — поножи, наколенники, нащиколотники, да железные башмаки с острыми шпорами.

Что лязгу, звону, грохоту! В седло Бориса усаживали вчетвером, с крыльца.

Проехался стальной центавр по двору — глядеть жутко. Будто один из всадников, про которых сказано у Иоанна в «Апокалипсисе», что брони у них огненные, а головы у коней львиные, изрыгающие огонь, дым и серу.

Вышел посмотреть на дивное диво и хмурый Путятич. Стоял, головой качал, ничего не говорил. Не нравилось боярину, что дружина прежде только его слушала, а теперь ею распоряжается Борис. У княжича завелся шустрый подручник, именем Шкурята, все время рядом — с поручениями бегают, приказы передает, на остальных покрикивает, а Добрыня стал вроде и ни к чему.

— Двадцать человек, возьмите луки, встаньте вон там! — гулко крикнул из-под шлема Борис, показывая туда, где за низкой, сложенной из кольев оградой начинался конюший двор. — Как поскачу, бейте по мне стрелами. Цельте метко, не бойтесь! Кто умеет арканы кидать?

Таких нашлось с дюжину.

— Встаньте по обе стороны. Погоню коня — набрасывайте веревки. Кто сумеет меня из седла сшибить, пожалуйю гривну!

Ингварь поморщился — платить ведь ему придется. Не жирно ли за такую глупость целую гривну серебра давать?

— Брось, брат, удалничать, — сказал он, подойдя к всаднику. — Опасную игру затеял. А коли стрела тебе или коню в глаз попадет?

— Удальства тут большого нет, а опасности подавно, — со смехом ответил Борис. — В таком доспехе да на моем Роланде героем быть легко.

Сейчас поймешь, за что Тагызу лишние триста гривен переплатил. Мне в глаз стрела попадет навряд ли, я от стрел заговоренный. А у коня наглазья есть.

Он опустил на лошадиной голове два железных лепестка.

— В копейной атаке коню зрение не надобно. Меньше бояться будет, лучше поводьев слушать. А что слепой — не его беда. Беда тому, кто на пути встанет. Эй! — зычно крикнул он на ту сторону двора. — Готовы?

— Позволь, княжич, я вместо вражьего воеводы буду, стрелками и арканщиками командовать, — сказал Добрыня, стоявший чуть сзади. — Только не взыщи, если что.

— Не взыщу! — фыркнул Борис. — Иди, старый. Командуй. Ссадите меня — тебе две гривны. А насмерть убьете — туда мне и дорога. Никого, братка, за меня не наказывай.

— Добрыня, — шепнул Ингварь, побледнев. — Ты не удумал ли что?

— Он сам захотел, — так же тихо ответил боярин. — На тебе греха не будет.

— Стой! Вернись!

Но Путятич уже бежал прочь, не по возрасту быстрый. Ингварь кинулся вдогон, но брат преградил путь копьем.

— Не мешай, Клюква. Не порти веселья.

— Оставь! Добром не кончится!

— Ох и нудный ты. Надоел!

Стальной всадник, потянув уздечку, развернул коня и отъехал к самой стене терема, для большего разгона. Тем временем Добрыня за оградой расставил стрелков в цепочку, что-то им втолковывая. Сам тоже взял в руки короткий лук, из которого легко бил на лету высоко летящую птицу.

У Ингваря похолодело в груди.

— Брат, стой!

Он бросился наперерез, но не успел. Мимо чеканным галопом пронесся несокрушимый конник, обдав пылью, обрызгав грязью из лужи.

Навстречу полетели стрелы. Они бились о нагрудник Роланда, о латы и щит всадника — и бессильной щепой разлетались в стороны. Тогда справа и слева подступили воины с арканами. Борис отпустил поводья, отшвырнул щит, обеими руками, одновременно, выхватил длинный меч и кривую саблю.

Первая петля просвистела близко, не зацепив. Зато следующая точно обхватила рогатый шлем, натянулась — но в тот же миг Борис махнул остро отточенным половецким клинком и рассек веревку. Так же он поступил со второй,



третьей, четвертой. Издал громогласный боевой клич — Ингварю показалось, что брат кричит «Гори-и-и-и! Гори-и-и-и!», но потом разобрал: «Кори-и-инф!»

Конь вскинулся, с разбегу перемахнул через ограду. Лучники едва успели отскочить в стороны.

Все восторженно заорали, побежали за всадником, который замедлил бег у самых конюшен и медленно поехал обратно. Ингварь мчался следом за всеми.



Борис держал в руке шлем, ковырял пальцем вмятину на железной глазнице.

— Глядите! — показал обступившим его воинам. — Кто такой меткий? На полвершка ниже — и конец мне. Но хранит удача Борислава Коринфского!

Прямо с седла, подбоченясь, он обратился к дружине:

— Вас тут шестьдесят удалцов. Двадцать конные, сорок пешие. Кому на коне быть, реши-

лось жребием. Неладно это, братья. Кто лучше и доблестней, тому и чести должно быть больше. Быть конным воином, по-европейски рытарем, — это заслужить надо. Вот проверю вас, кто хорош в ратном деле, а кто нет, тогда и погляжу, кому верхом биться, а кто пускай пока пеш походит. Всяк старайся, покажи себя, попробуй первым быть. Вот как в лихой дружине надо!

— А я думаю, в дружине надо по-иному, — сказал Ингварь, поглядев на мрачного Добрыню. — Перед Богом и смертью, в сражении, все равны. Соперничать друг с дружкой нечего, от этого бывает зависть и рознь. Так и при отце было: стой вместе, как скала единая, тем и победишь.

Никто его не поддержал, ни один человек. А Путятич как стоял молча, так рта и не раскрыл, хотя Ингварь повторил всегдашние его слова.

— Ну-ка, кто из нас прав, я иль Клюква? — весело крикнул Борис.

— Ты! Ты! Хотим по-твоему! — зашумели дружинники.

Несколько раз Ингварь просил брата не звать его при воинах и при челяди «Клюквой» — от этого князьему сану урон, и Борис обещал, но,

забывшись, все-таки поминал забытое детское прозвище. И оно понемногу пристало.

Однажды стоял Ингварь у окна, а внизу проходили Шкурята и еще двое дружинников. О чем говорили, было не слышать, но один спросил:

— Это который князь велел — князь-Сокол или князь-Клюква?

— Сам ты «клюква», — ответил Шкурята. — Настоящий князь у нас один.

Скверно стало Ингварю. Если настоящий князь — Борис, то кто тогда он? Тиун? По хозяйству приказчик?

Господи, неужто это Твое воздаяние за милосердие, за великие жертвы, за братскую любовь?

И ведь не было ее, любви-то. Сколько к сердцу ни прислушивался, никакой теплоты к вновь обретенному брату не чувствовал. Только досаду, обиду — и еще страх. Страх, что придет долгожданная весточка от Ижоты-Ирины: уломала я отца с матерью, скажи ко мне, мой Трыщан, а он уже себе не господин, не князь — не поймешь кто...

Ведь поговорил он тогда, храбрости набравшись, с Михаилом Олеговичем. Стерпел обидное изумление, ни словом не укорил радомирского князя за сердитый отказ. Сел на коня да

уехал, лишь во дворе поглядел на некое окошко, и махнул оттуда белый платок, и было в том махе обещание, которое согрело отвергнутому жениху душу.

Ох, надо было слушать мудрого Добрыню. Никто бы конями Бориса не разорвал. Надоел бы он Тагызу своим буйным норовом, и месяцев через несколько отдал бы хан двоюродного за малую плату или даже задаром бы отпустил. А к тому времени, глядишь, уже и свадьба бы сладилась...

Несколько недель угрызался так Ингварь, коря себя за глупость и все больше сердясь на Бориса. Но на Успенье Богородицы, когда поминают мертвых родичей, случилось нечто, отчего он на брата взглянул по-новому.

* * *

Стояли в церкви вечернее поминание по отцу и брату. Отец Мавсима читал из Псалтыря возвышенное.

«Воздремала душа моя от скорби. Утверди меня в словах Твоих. Путь неправды отстави от меня, законом Твоим помилуй мя...» — торжественно и печально выпевал протопоп. У Ингва-

ря щипало в носу. Борис всхлипывал и не утирал слез, потом пал на колени, склонился лбом в каменный пол, под которым лежали останки. Рыдал, повторяя: «Прости, батюшка... Прости сына блудного, окаянного». Тут уж заплакал и Ингварь.

Дома тоже поминали, с вином, но Ингварь скоро ушел. Он привык ложиться рано, всегда вставал вместе с солнцем, потому что работы много. Борис же остался за столом.

Ночью разбудил. Явился в опочивальню хмельной, с распухшими глазами. В руке свеча.

Ингварь, пробудившись, испугался неожиданного явления. Лицо у Бориса было страшное, перевязанное поперек широкой черной тряпичей; по нему метались тени от дрожащего огня.

— Что с тобой? — вскричал Ингварь, садясь на постели.

— А? — Борис тронул повязку. — Это я на ночь усы воском натираю. Прижимаю, чтоб кверху торчали... Эх, Ингварка... — Он сел на ложе, пригорюнился. — Не спится мне. Вспомнил, как раньше, когда маленький был, трапезничали. Много нас было. Батюшка, матушка, брат Володьша, я, близнецы Яромир со Святополком, младше меня, оба от красной болезни померли, сестренка Саломеюшка со светлыми косами, я ее

любил, Сметанкой звал. Ее тоже Бог забрал... Твоей матери, тихони, тогда еще не было, тебя тем паче... А ныне никого кроме тебя у меня не осталось. Один ты мне родная кровь. А женишься — и тебя не станет...

Ингварь на жалкие слова растрогался, но и насторожился. Узнал про Ирину? Откуда?

Осторожно сказал:

— Так и ты женишься.

— Нет, братка, куда мне? Я перекаати-поле. Нигде долго жить не могу, скучно становится. Дунет ветер, качусь дальше... Так и сдохну где-нибудь в чужом краю, от острой стали иль от хворобы. Туда мне, зряшному, и дорога. Только на тебя надежда. Не дай нашему роду пропасть. Сколько тебе? Двадцать?

— Двадцать второй уже.

— Пора, пора о жене думать. Свиристели наследник нужен.

Не знает, понял Ингварь.

Борис был сейчас не веселый и красивый, как всегда, а мятый, потерянный — и оттого вдруг родной.

Тронув брата за плечо, Ингварь тихо молвил:

— Думаю уже.

И всё рассказал. Про давнюю и безнадежную любовь, про чудо из чудес — Иренино согласие,

про несчастное сватовство. Только о своих опасениях не помянул: что и прежде, в единоличном княжении, он был жених незавидный, а теперь стал вовсе никакой.

Слушая, Борис оживленно кивал. Слезы высохли. Глаза заблестели.

— Ну, это дело мы быстро устроим, — сказал он уверенно. Подмигнул. — Не вешай носа, добудем твою ладушку. Положись, братка, на меня. Завтра же едем в Радомир. Я буду не я, если князь-Михайлу и его франкиню сушеную по-своему плясать не заставлю. Это-то я хорошо умею. Спи, Клюковка, утро вечера мудренее.

Ингварю впервые тогда подумалось: хорошо это, когда есть старший брат.





ПРО КАИНОВУ ПЕЧАТЬ

«**Д**елай всё, как скажу, — велел Борис, — и выйдет складно».

Должно быть, так же надежно и уверенно чувствовали себя воины, когда он водил их в поход или в бой. Сомневаться и тревожиться нечего — знай исполняй, что наказано.

Ингварь и не сомневался. Но тревожиться тревожился.

Брат оставил его в поле, не доезжая Радоми-ра. «Побудь тут час-другой. Дай мне князя с княгиней размягчить. Увидят тебя — зубы ощерят. Дочка, поди, своими слезами и жалобами их сильно примучила. А на меня им что крыситься?»

Удумано было хорошо. Не может такого быть, чтобы Борис своими рассказами, своей белозу-

бой улыбкой и лучезарной повадкой не расположил к себе Михаила Олеговича и даже злующую Марью Адальбертовну.

Время Ингварь умел считать, как все: по солнцу. Однако небо затянули серые тучи, и было не понять, когда кончатся два часа. Ему казалось, что миновала уже целая вечность, а сколько времени прошло на самом деле, неизвестно. От волнения на месте не стоялось, и князь натоптал по траве целую тропинку, ходя то вперед, то обратно.

Наконец, трижды перекрестившись, сел на Василька, поехал к городским воротам.

Спешившись на княжьем подворье, сказал слуге, как условились с Борисом:

— Что брат мой Борислав Ростиславич, давно ли прибыл? Подпруга у меня лопнула, отстал я.

Ответили, что прибыл давно, кушает в трапезной обед с князем, княгиней и княжной.

Обнадеживающий знак. Особенно, что и Ирина там.

По лестнице Ингварь взбежал через ступеньку, но в зале, перед входом в трапезную, задержался. На стене, почетно, висело его серебряное зеркало. Подошел, осмотрел себя — всё ли лад-

но. Расстроился. В плохом-то зеркале, медном, он краше смотрелся. И бороденка не такая жидкая, и кадык не выпирает, и пятно на лбу не столь пунцовое.

Хорошее зеркало врать не стало. Перепуганные глаза жалко мигали, сдвинутые к самому носу — не соколиному, как у Бориса, а воробьиному.

Утешил себя тем, что в повести много сказано про Ижотину красу, а про то, пригож ли Трыщан, ни слова. Может, он тоже был собою неказист, но полюбила же его прекраснейшая из дев.

Теперь перекрестился уже не три, а тридцать три раза, ради укрепления духа.

Вошел.

Борис велел, как войдешь, сразу на него посмотреть, он знак даст. Скривится — делать плаксивое лицо; подмигнет — победительно улыбаться.

Но ни на кого кроме Ирины после стольких недель разлуки Ингварь, конечно, глядеть не мог.

Она зарумянилась, опустила ресницы, но взгляд лишь скользнул по вошедшему и переместился на Бориса. Тогда и Ингварь, вспомнив

наказ, повернулся к брату. Тот скосил глаза на княжну, показал из-под стола большой палец: хороша, мол, твоя лада. Лица не скривил, но и не подмигнул, так что Ингварь не понял, унылым ему представиться иль веселым. Поэтому просто поклонился и сказал положенное величание.

Княгиня дернула ноздрей, отвернулась. Михаил — тот был добрее:

— А, ты. Что припозднился? Садись, садись. Вина ему, закусок. Ешь, пей, слушать не мешай. Ох, брат у тебя — лучше гусляра сказывает.

Кажется, всё было неплохо. До главного разговора еще, кажется, не дошло, но хозяев Борис размягчил. Даже княгиня Марья смотрела на него ласково.

— Ты пировал с лучшими принцами Франции? — спросила она, смешно коверкая слова.

— Почитай, каждый день бражничали. С Луисом Блуаским, с Етьеном Першским, с Бодуеном контом Невильским, с контом Жофреем Шампанским, — начал перечислять Борис имена, которые показались Ингварю потешной тарабарщиной, но для Марьи Адальбертовны, видимо, звучали музыкой. Княгиня на каждое охала, закатывала глаза.

— Жофрей этот смешной был, — усмехнулся Борис. Он поглядывал на Ирину, покручивал ус. — Всё вздыхал, на девок греческих не зарился, будто монах какой. Песни жалостные сочинял — баллады.

— Баллады? — тихо спросила княжна. — Про что?

— Про дам-дю-кёр, это по-нашему «сердечная зазноба».

— Я знаю! — прошептала Ирина. — А кого он любил, этот Жоффруа?

— Какую-то франкскую королевну, мужнюю жену.

— Грех-то какой! — возмущенно воскликнула Марья Адальбертовна.

— Ничего не грех. — Борис засмеялся. — Это у них там теперь очень даже можно. Рытарь по своей дам-дю-кёр только сохнет, баллады сочиняет, на турнире за нее бьется, а срамное что — ни-ни. Издали млеет. Как Клюква по Ирине Михайловне.

У Ингваря в руке качнулась стеклянная чарка, пролилось вино. Ирина, покраснев, опустила глаза. А Михаил Олегович расхохотался, и жена ему по-козьи подблеяла.

Зачем Борис про это? И потом, прощено же было: не звать Клюквой. Уж при Ирине-то!

— Брат у тебя золото, — сказал радомирский князь Ингварю. — Сокол, не тебе чета. Я рад, что ты дурь из головы выкинул. Куда тебе на Ирине моей жениться? Ты ль ей нужен?

— Что? — мертвея, переспросил Ингварь.

— Я Бориславу Ростиславичу говорю: «Давай по-добрососедски жить, душа в душу». А он мне: «Мало душа в душу. Давай плоть в плоть. Отдай за меня дочь-красу».

У Ирины щеки из красных стали белыми. Но глаз от стола княжна так и не подняла, не было от нее никакой помощи остолбеневшему Ингварю.

Он взглянул на брата.

Тот успокоительно покивал:

— Молод ты жениться, Клюква. Успеешь. Я князь-Михайле что предложил? Выдаст за меня дочь — станем жить одним княжеством. Он — старший князь, я младший. Буду дружиной вестись. Если наших и ихних воев вместе собрать — это сила будет. Никто к нам не сунется. Захотим — сами за добычей сходим.

— Так, так! — горячо поддержал радомирский князь. — А помру — всё тебе отойдет, вашим с Иришей деткам.

Что ж Ирина-то? Почему молчит? И не смотрит!

Ингварь вскочил. Качнулась было подняться и княжна, но отец грозно прикрикнул: «Сиди!» — села.

Не помня себя, ничего вокруг не видя, Ингварь бросился прочь.

Во дворе, у крыльца, хрипло крикнул:

— Коня!

— Так только напоили, овса дали...

— Ведите! Живо!

Запустить вскачь, остудить ветром пылающее лицо — единственное, чего сейчас хотелось.

Наконец сел в седло. Поднял руку с плетью — не хлестнул. Со ступенек, утирая жирные губы, спускался Борис. Поманил к себе.

— Не сверкай глазами, Клюква. Так оно ладней будет.

— Ты... ты обещал...

Слова застревали в горле, не проговаривались.

— Мало ль что, — важно молвил Борис. — Мне решать, я князь. Назад едешь? Ну езжай, остынь. А я тут погощу. Потом еще в Чернигов наведаюсь. Давно в большом городе не был... А за Иришу спасибо. — Он подмигнул. — Девка сладкая. Не по твоим зубам. Брось, не горюй. Сыщу и тебе невесту. В обиде не будешь.

Чтоб не хлестнуть плетью по улыбающемуся лицу брата, Ингварь яростно полоснул по крупу коня.

Не привычный к такому обращению Василько тряхнул башкой, пошел боком, да и споткнулся. Ингварь чуть не выпал из седла.

Под хохот радомирской дворни конь небystрым галопом поскакал к воротам.

«Убью, убью!» — шептал Ингварь — и сам не знал, кого хочет убить.

То ли Бориса — за предательство хуже Иудиного. То ли Ирину — за опущенные глаза. То ли самого себя.

* * *

Бедному, ни в чем не повинному Васильку пришлось еще не раз отведавать и плетки, и каблучков. Выносливый, неутомимый, конь сбился с галопа на неровную рысь, потом на судорожный бег, стал хрипеть. Уже вблизи города Свиристе-ля Ингварь заметил, что с седой морды буланого клоками слетает мыло, и расплакался от жалости. Спешился, обнял старого товарища, попросил прощения. Василько прядал назад, испуган-

но пуча зрячий глаз. Дальше князь повел Божью тварь бережно, в поводу.

Прохожие кланялись. Ингварь, против обычного, ни на кого не смотрел, только кивал.

На подворье не было ни души — все будто попрятались. Как ни саднила душа, а все ж Ингварь удивился. Самому, что ли, Василька на конюшню вести?

Но диковинное безлюдье скоро разъяснилось.

Из терема донесся гневный рык. Распахнулась дверь. Оттуда, спиной вперед, вылетел Шкурята, Борисов любимец. Ударился о перила, чуть не упал. За ним выбежал Добрыня Путятич. Схватил за шиворот, с разворота врезал еще раз — Шкурята покатился со ступенек. Внизу поднялся, побежал через двор.

— Всё князю скажу! Ужо будет тебе, старый дурень! — взвыл он, утирая кровь.

— Что-о?!

Боярин перепрыгнул через перила, ловко приземлился и пустился следом. Нечего и сомневаться — догнал бы. Тогда Шкуряте за «старого дурня» пришлось бы худо. Но здесь Добрыня увидел Ингваря — и сразу понял по его виду: беда.

— Почему так скоро? И почему один? Отказал Михайла? Не сладилося сватовство?

Он знал, куда и зачем поехали братья, поэтому таиться было нечего.

— Сладилось, — коротко, сквозь зубы, сказал Ингварь. — Борис у отца Ирину за себя попросил. Понравилась она ему. И нечего про это... За что Шкурятю мордуешь?

На скуластом лице боярина задвигались желваки, глаза сощурились, будто что-то высматривая. Кулак яростно ухватился за ус.

— Вон оно как... И ты стерпел?

— Сказано: нечего! — взвился Ингварь. — Что тут стряслось? Почему драка? Отвечай, коли спрашиваю!

На бешеный крик Добрыня не обиделся, а наоборот — даже кивнул, будто одобрил.

— У нас тут тоже неладно. Утром, как вы с Борисом уехали, вернулся тиун Лешко, кого ты в Рязань посылал, обоз сушеной рыбы продать. Продал, пять гривен привез.

— Что ж неладного? Цена хорошая. С теми пятнадцатью, что мы за воск выручили, уже двадцать набирается. Хватит евреям первую долю выплатить.

— Не хватит... Понес я серебро в казенную клеть, а там пустые полки. Ты знаешь, Борис приставил смотреть за казной Шкурятю, пса своего. Спрашиваю: где пятнадцать гривен, что за

воск получены? Князь, говорит, забрал. И на то, говорит, его княжья воля, а ты мне не указ...

— Как это «забрал»? На что Борису целых пятнадцать гривен?

— Шкурята сказал, Борис после Радомира в Чернигов собрался...

Ингварь не мог опомниться.

— Господь милосердный! Чем же теперь долг платить?

— Это еще не беда, а бедёнка... — Боярин оглянулся и понизил голос: — Пойдем в терем. Покажу тебе нечто...

В горнице, за плотно закрытой дверью, дал в руки свернутый пергамент.

— Что это?

— Нынче же утром Борис, перед тем как ехать, приказал своему стремянному отроку Пикше отвезти Роману, князю Переяслав-Северскому, письмо. Пикша мне крестник. Я его к Борису и приставил. Чтоб доглядывал. Показал мне грамотку... Ты прочти.

Переяслав-Северскому князю, своему двоюродному брату, Борис писал так:

«Романе, помнишь ли, как тому восемь лет, юность свою теща, на половцев за весельем и добычей ходили? Ныне мы оба князья, я в Свиристеле на отцовский стол сел. Гостил не своей во-

лей у Тагыз, ненавистного твоего врага. Не хочешь ли с ним поквитаться, чести и злата добыть? Тагыз из греческого похода много богатства привез. Нападем, себе заберем. Приходи в осень, когда урожай соберешь. Дружина у меня крепкая, но числом невеликая, а вместе бы вышло дело хорошее. Что скажешь?»

— На Тагыз-хана войной? Первыми? — ахнул Ингварь. — И ни мне, ни тебе об этом ни слова? С ума он сошел? Погубить всех хочет?

Боярин молчал, глядел так, будто ждал еще каких-то слов.

— Что делать, Путятич?

— Как «что»? — Добрыня пожал плечами, будто удивился. — Ясно: убить. Он не угомонится, пока не обратит отчину в пепелище. Всем от него лихо.

— Убить?! — пролепетал Ингварь и вспомнил, как, едучи из Радомира, сам себе про то же нашептывал. Но одно дело себе, в сердцах, шепотом, и совсем другое — вот так, рассудительно, в голос.

— Не думай, что Борис всем здесь люб. Старые дружинники на него зуб точат. Он молодым потакает, они стали дерзки, к старшим непочтительны. Все в «рытари» метят. Пойми вот что. — Добрыня цедил слова жестко, будто ронял капли

расплавленного железа — ковать наконечники для стрел. — Первый долг князя — перед отчиной, перед людьми. Хочешь добрым быть, жить по-божьи — в монастырь ступай. Не занимай не своего места. Иль ты вправду «князь Клюква», как Борис тебя кличет?

И посмотрел на лоб, презрительно.

Ингварь потер родимое пятно. Тихо ответил:

— Это у меня, может, и клюква, но не Каинова печать. А еще раз заговоришь со мной о братоубийстве — прочь изгоню, хоть ты мне и дорог. То же сделаю, если Борис вдруг ни с того ни с сего животом захворает и помрет. Понял?

Боярин сдвинул седые брови, опустил голову.

— Письмо князь-Роману сожги. Сгинул голец по дороге — бывает. Пикшу отошли подале. В Киев, что ли? Он — отрок смысленный, пускай там в лавре греческому языку учится.

— Эх, княже... — тяжело вздохнул Добрыня.

Пожалеешь, да поздно будет... Еще вот что сегодня было, такой уж выдался день. Со степного рубежа, от Локотя-крепости, прибежал конный. Доносит, что едет к нам Тагыз-хана посланец, куренной Сатопа. Якобы про здоровье ханского родича Бориса сведать. На самом деле разнюхать хочет, ужились ли друг с другом два свирельских князя, нет ли меж вами разлада. Я тогда

Сатопу давно знаю, он пес нюхастый. Едет чинно, шагом, как подобает послу. Думаю, ранее завтрашнего вечера не прибудет. Это хорошо, что Борис в Радомире остался. Без него половца примем, успокоим, назад отправим. Хоть в этом нам удача, радуйся.

— Радуюсь, — хмуро ответил Ингварь, думая, что Ирина сейчас с Борисом, заслушивается его складными речами. Дам-дю-кёр, Жофрей Шампанский, турниры, баллады — знает, змей сладкоядовитый, чем в сердце проникнуть...

* * *

Добрыня рассчитал верно — посланник Тагыз-хана добрался до Свиристея на исходе следующего дня. Боярин ошибся только в одном.

За полчаса до того, как примчался дозорный — сообщить, что на восточном шляхе закрубилась пыль, — с другой стороны, западной, в город въехал Борис.

— Передумал в Чернигов! — беспечно крикнул он из седла Ингварю и Добрыне, которые мрачно глядели на него с крыльца. — Деньги потратил. А что в Чернигове без серебра делать? В Радомир нынче новгородские купцы прибыли.

Накупил у них всякого-разного. Себе — плащ и немецкого сукна. Невестушке — книгу с картинками. Недорого запросили, потому что на франкском языке. Удачно вышло. Ирина-то моя эту грамоту знает. Тестя будущего с тещей тоже уважил. А это, Клюква, тебе. — Со смехом протянул костяной гребень, искусной резьбы. — Чеши бороду, быстрее вырастет. И не дуйся на брата.

«На это ты потратил весь годовой прибыток от воска?» — хотел спросить Ингварь, но сейчас было не до укоров. Нельзя затевать ссору перед приездом половцев.

— А что это дружина собралась на конюшенном дворе? — спросил Борис. — Кто приказал? Зачем?

Все воины, какие были в наличии, рубили мечами и кололи копьями соломенные чучела, стреляли из луков по мишеням — вроде как на учении. Пусть Сатопа увидит: в Свиристели к обороне всегда готовы.

— Молчи, князь, и слушай. — Добрыня перегнулся через перила. — Времени мало.

Куренного принимали в большой горнице, с честью. Сатопа явился со свитой из шести ланганов, под бунчуком из трех конных хвостов — знаком посланнического достоинства.



Воинов повели угощать в гридню, к дружине. С послом сели вчетвером: оба князя, боярин и протопоп.

На столе всё лучшее, что сумели собрать: говядина с бараниной, рыба, птица, куски соли, до которой степняки большие охотники, даже малая мисочка с драгоценным черным перцем, сыпать на кушанья. Конечно, меды и пиво. Вина только не было. Потратившись на выкуп за брата, Ингварь решил в этот год не закупать дорогого заморского питья. Не до жиру.

Сатопа же подарки привез худые, непочтительные. Степной обычай предписывал поклониться оружием, конским нарядом и ковром. Но

саблю половец вручил плохую, в потертых ножнах, седло дрянное, а ковер старый, с пятнами сала.

Толкнув побагровевшего Бориса под скамьей сапогом, Ингварь поблагодарил, спросил, здоров ли великий хан.

— Здоров и весел, — ответил Сатопа, постреливая узкими, насмешливыми глазами с одного брата на другого. Разговор шел на половецком языке. — Хочет знать, весел ли его двоюродный брат Борислав. Когда я тебя, князь, в Улаге видел, ты шибко грустный был. Я у хана сам в Свиристель попросился. Виноват я перед тобой. Хочу прощения попросить.

Он сокрушенно повесил голову, однакоглянул исподлобья колко, с непонятым намеком.

Бориса было не узнать. Сидел как каменный, молчал, лишь сверкал глазами.

— Ты зла на меня не держи. Тогда, после битвы, я горячий был, сердитый. Родичей в сече потерял. Прощаешь?

Половец зачем-то покрутил пальцами кончик своего носа, все так же задорно смотря на Бориса.

С беспокойством Ингварь покосился на Добрыню. Тот насторожился, тоже не сводил глаз с Бориса. Тот из красного стал белым, потом по-

шел пятнами. Один только отец Мавсима, не понимая разговора (он по-половецки не знал), увлеченно грыз баранью кость да причмокивал от удовольствия.

Вдруг Борис запрокинул голову и расхохотался.

— Полно тебе старое поминать, Сатопа! Сгоряча чего не бывает. Выпей лучше доброго меда.

Половец довольно оскалился. Стал пить из чаши, а Борис поманил пальцем — от двери подбежал Шкурята, с оплывшей от Добрыниных побоев рожей. Послушал, что шепчет князь. Вздрогнул. Шепотом же переспросил.

— Делай, что велено. — Борис толкнул его кулаком в лоб. — Хорош медок, Сатопа? У вас в Улагае такого нету. Дай-ка я тебя сам попотчую.

Он поднялся, обошел вокруг стола, сел рядом с половцем.

— У нас, как и у вас, большая честь, когда князь из своего рога, собственной рукой поит. На-ко вот. — Налил до самых краев, поднес Сатопе ко рту. — Хлебай-хлебай, до дна. Я держать буду.

Усмехнувшись, куренной начал пить — очень медленно, чтобы князю подольше сидеть в неудобной позе, извернувшись.



Откуда-то донесся истошный вопль, но сразу пресекся. За ним еще один, тоже короткий.

Добрыня резко повернулся к окну, Ингварь — к двери. Оторвался от рога и Сатопа.

— Что это? — спросил он, вытирая мокрые губы.

— Это смерть твоя, собака! — Взметнув из-под стола руку, Борис ударил половца ножом в подвздошь. Сшиб с лавки на пол, прижал коленом грудь. — Твои ланганы мертвы. Сдохни и ты!

Ингварь с Добрыней вскочили, потрясенные.

Скользящим движением Борис отрезал раненому кончик носа и сунул в разинутый, хрипящий рот.

— На-ко, просморкайся!

И много раз, бессчетно, стал бить ножом куда придется. Во все стороны полетели красные брызги. Половец уже лежал не шевелясь, а Борис всё бил и бил. Насилу Ингварь и Путятич его оттащили.

Вырываясь, брат бессвязно кричал:

— После Адрианопольской битвы... когда я, как куль... как куль связанный лежал... Он, гад, подошел, сапогом пнул... А потом из ноздри на меня сморкнулся! Хан Сатопу нарочно сюда прислал! Мне в оскорбление! Напасть хочет!

— Да почему напасть? — Ингварь тоже закричал, отчаянно. — Он проверить хотел, лад у нас с тобой или нет. Коли дружно живем — нечего нас и трогать! А теперь что? Война! Да какая! Без пощады, дотла!

Борис не слушал:

— Не прощу... С одним псом по квитался. Но и Тагызу не спущу. Он меня на пиру ниже куренных и кошевых сажал, с простыми ланганами! Потешался! Пускай теперь похохочет!

Раздался странный прерывистый звук. Это икал протопоп, застывший с раскрытым ртом, из которого свисал кус баранины.

Настроение у Бориса менялось быстро. Только что трясся от лютой ярости, а тут покатилося со смеху.

— Ой, Мавсима-то... Зев разинул! Прикрой, ворона залетит!

Поп выплюнул мясо, бухнулся на колени, забормотал молитву. На Бориса он не смотрел.

— Господи, что ж теперь будет... — тоскливо пробормотал Ингварь и попятился — к сапогу, словно змея, подбиралась струйка крови.

— Война будет, — пожал плечами Борис. — Или мы их, или они нас. Это как Бог рассудит.

Добрыня глядел на него с ненавистью.

— Бог судит за тех, у кого копьев больше. Тагыз созовет все свои курени, кликнет на помощь других ханов. Куда нам против такой силы?

— А мы не станем ждать. Первые нападем. Врасплох. — Борис, нагнувшись, вытер нож и окровавленные пальцы об одежду мертвеца. — Тагыз в Византии большую добычу взял. Вся наша будет.

— Нападем?! — не поверил своим ушам Ингварь. — На половцев?! Да ты не пьян ли? Ото-

брал у меня стол, отобрал невесту, но губить отчину и людей я тебе не позволю! Не будет мне за то от Бога прощения.

Борис недобро усмехнулся.

— Ишь как запел. Не дозволишь? Сказал князь воевать — будете воевать. Так испокон веку заведено.

— Испокон веку заведено не так. — Добрыня встал рядом с Ингварем. Ростом и статью он не уступал Борису. — Идти в поход иль нет — решать дружине. Как воины приговорят.

Борис и боярин оба набычились, каждый держал руку на рукояти меча — вот-вот затеют рубиться. Но князь засмеялся, стукнул Добрыню по плечу.

— Ты прав, старый. Пускай дружина решит. Коли не захотят — я с такими овцами и сам в поход не пойду. Собери всех в гриднице. Пускай только мертвяков оттуда вынесут и пол песком присыплут. Можешь пока дружину против меня и моей правды поугovarивать. Пользуйся.

Добрыня, метнув взгляд на Ингваря, вышел. Борис же, подойдя к кладущему земные поклоны протопопу, шутливо спросил:

— Ну, отче, какую ты мне назначишь епитимью за убиение язычника?

Мавсима, распрямившись и в последний раз сотворив крестное знамение, тихо ответил:

— Ты — князь, пастух над людьми. Коли грешен — за твой грех все стадо расплатится. Коли прав — Господь спасет и тебя, и люди твоя. А с души твоей спросит после.

— Вот это правильный поп! — смеясь, воскликнул Борис.





ПРО УЖАСЫ БРАНИ

Вгряднице пахло свежей кровью. Под ногами хрустел песок, сквозь который проступали темные пятна. Четверть часа назад здесь прирезали шестерых половецких ланганов.

Свиристельские дружинники давно уже не воевали, давно никого не убивали, поэтому лица у всех были хмурые, бледные. Каждый понимал, что расплата за смерть ханских посланцев будет страшной.

Князья вошли вместе, но Ингварь нарочно отворачивал лицо, чтобы показать людям: он брату не потатчик и свершившееся окаянство осуждает. Правда, на младшего князя никто и не смотрел. Воины пытливо, выжидательно уставились на старшего.

Борис оглядел собравшихся, тронул закрученные усы. Усмехнулся.

— Вижу, Путятич с вами уже потолковал. Боитесь идти на половцев? Что ж, говори, Добрыня. Как нам после того, что тут вышло, без войны обойтись? А я послушаю.

Он сел у стены, скрестил руки на груди.

Добрыня вышел на середину.

— Надо вот как. Увезти мертвых на берег, подальше от города. Бросить у воды. Порубить новгородскими топорами, а один топор, сломав, положить рядом. Будто бы послов посекали ушкуйники разбойные. Тагыз знает, что новгородцы у нас озоруют. Заплатим половцам за недогляд гривен двести или триста. Возьмем еще в рост, после как-нибудь отдадим. Если хан захочет мстить Новгороду, пообещаем пойти вместе с половцами. Но он навряд ли захочет — больно далек путь... Перед погаными виниться будет тяжело. Но воевать с ними нам нельзя.

Многие, особенно из старых дружинников, с боярином согласились. Молодые молчали — ждали, что скажет Борис.

Тот поднялся. Неспешно походил по зале, периодически глядя в лицо каждому.

— Эка дрожите-то. Будто листья под ветром. Воины — и войны боитесь? Рыба, воды боящая-

ся, и волк, леса бегущий, — на что они? Эй, Шкурята! Покажи, кто ланганов кончал! Пусть вперед выйдут.

К Борису протиснулись человек пятнадцать, все молодые — из тех, кто вечно ходил за Борисом и жадно слушал его рассказы.

— А ну встаньте в ряд. Преклоните правое колено. И ты, Шкурята.

Князь вынул из ножен меч. Коснулся клинком Шкурятиного плеча.

— Жалую тебя, честной муж, родовым именем и знаком. Отныне будешь зваться рытарем.

То же самое он проделал с остальными и повторил точно такие же слова.

— Теперь поднимитесь. Вы — первые свирительские рытари. Возьмем у поганых добычу — велю вам выковать серебряные шпоры. Прочие знайте: кто отличится в походе, получит такую же честь. И двойную долю от добычи. А добычи мы возьмем много. Я, пока в плену сидел, насмотрелся, сколько Тагыз-хан у греков добра наградил. Там и золото, и серебро, и ткани узорчатые...

Он начал расписывать, какие богатства привезли в свой Улагай половцы из Византии. Ингварь смотрел на воинов, каждого из которых знал с детства, и ему казалось, что он видит их

впервые. У дружинников разгорались глаза, к лицам прилиwała кровь — и дело было не в алчности или не только в ней. Когда Борис заговорил о сладости победы, о великой славе, которую обретут те, кто одолеет поганых, молодые начали одобрительно шуметь, да и старые закивали.

Боярин, перебив Бориса, крикнул:

— А будет ли победа? Откуда? Сколько нас и сколько их? Что рты разинули, дураки? Это вам в степи лежать, воронов кормить!

— Может, и так, — легко согласился Борис. — Воинская судьба — она такая. Но, по-моему, лучше полечь со славой, чем идти к поганым на поклон. Ладно, соколы. Всё уж сказано. Решайте. Кто за то, чтобы в степь идти — подымай кверху кулак.

Лес сжатых кулаков поднялся над русыми, светлыми, черноволосыми, седыми головами. Нечего было и считать.

— Вот тебе ответ, Добрыня. — Борис снисходительно оглянулся на боярина. — Дружину сам поведу. Дорогу к Улагаю я хорошо знаю, было у меня время всё там высмотреть. Клюква, ты позаботься о припасе в дорогу. Чтоб у моих соколов ни в чем нужды не было. Завтра на рассвете выступаем.

— Эх, князь, князь, — горько шепнул бледному Ингварю боярин. — Говорил я тебе. Не уберег ты отчину. Быть Свиристелю пусту...

* * *

Что можно было за короткое время сделать — всё было сделано.

Городские ворота Ингварь велел запереть. Кто чужой приедет — пускать, но из Свиристеля не выпускать никого. Весть об убийстве половецких послов надо было держать в тайне.

Вечером Борис пображничал со своими «рытарами», но недолго — отправил всех спать, сказавши, что рано утром идти в поход, и завалился сам.

Ингварь же с Добрыней всю ночь были на ногах. Готовили припас, проверяли конскую сбрую и оружие. Отправили надежных, неболтливых гонцов по деревням — приказать ополченцам, чтобы шли к крепости Локоть, там-де будет военное учение.

Замысел у Бориса был простой: собрать всю силу, сколько есть, и скорым шагом, налегке, без обоза, идти прямо на Улагай, где ханская ставка. Взять врага врасплох.

Тагызова орда поделена на десяток куреней, разбросана по степи на сотни верст. Каждый курень состоит из кошей, родов с собственным кочевьем. Готовясь к войне, хан собирает рать неделю или две. Под его бунчук встают до полутора тысяч всадников. Если же ударить неожиданно, Тагыз останется только со своей ближней дружиной и с обитателями Улагая, который и не город вовсе, а стойбище, куда сгоняют на зиму скот, а ныне, в конце лета, людей там мало.

Важно еще вот что. Даже завидев врага, Тагыз уйти в степь не сможет — иначе придется бросить византийскую добычу, которая за неимением теремов и складов хранится у половцев в повозках, под охраной. Расчет Бориса строился на том, чтоб скрытно подойти к Улагаю как можно ближе. А там — как сложится.

Если получится с одного удара сокрушить хана — и победа, и добыча будут со свиристельцами. Устоит Тагыз — уже назавтра начнут подходить ближние курени, и тогда никто из русских домой не вернется. Все до единого сложат головы, а Свиристель останется без защитников, потому что Борис брал с собой всех, до последнего человека: двадцать конных и сорок

пеших дружинников, восемьдесят воинов из Локотя, даже сотню копейных мужиков ополчения.

— Иль орлами кружить, или воронов кормить, — беспечно сказал он брату.

С утра Борис сидел на своем огромном Роланде свежий, праздничный. Покрикивал на дружинников, заряжал их своим задором.

С первыми лучами солнца двинулись.

Впереди — Борис, за ним конные, потом пешие. Сзади — малый обоз, необременительный. Всю ночь — Добрыня придумал — плотники с кузнецами делали двухколесные тележки, которые можно цеплять к крупу. Двадцать тягловых лошадей тянули эти легкие повозки, груженные съестным запасом, доспехами, оружием. Дружинники шагали налегке, в одних рубахах — быстро.

Но в Локоте пришлось задержаться и ждать ополченцев. Те собирались к крепости весь остаток дня, до поздней ночи.

— Ты принимай людей, — сказал Ингварь брату. — Я поеду вперед. Завтра свидимся.

— Поедешь? Куда это?

— К Юрию Забродскому. Нам через его земли идти. Договориться надо.

— Скажи ему: вздумает Тагыза упредить — пожалеет. — Борис погрозил кулаком. — Да по-строже с ним.

— Скажу, — коротко ответил Ингварь.

Он не был уверен, что из поездки выйдет прок, но попробовать стоило.

* * *

Князь Юрий рванул на себе ворот, словно перестало хватать воздуха.

— Убили? Сатопу с ланганами?

Желтое складчатое лицо все задрожало, маленькие глаза за припухшими веками будто провалились, сделались двумя дырками.

От многолетней близости к Степи забродчане изрядно ополовечились. Стали черноволосыми и скуластыми. Здесь было в обычае приводить невест из орды, а бабы после каждого набега рожали узкоглазых детишек. Юрий по виду был чистый половец, только что говорил по-русски, да под рубахой виднелся шнур от креста.

— Да. И ныне идем разорить Улагай, — сказал Ингварь, изображая спокойную уверенность. — К полудню мой брат Борис с войском будут здесь, в Забродске.

Юрьев город, а верней сказать городец, стоял на крутом холме, окруженный крепкой стеной. Подниматься и спускаться по выющейся вокруг склона дороге было долго и неудобно, но забродские, когда строили, об удобстве не думали. При их суровой жизни заботиться надо было только об обороне.

Каждый раз, идя на Русь, поганые следовали этой дорогой. Бывало, что и черниговские Ольговичи, собрав силу, шли воевать Степь — для Забродья это было немногим лучше. Потому здешние князья всегда присоединялись к нападающему: половцы идут — к половцам, русские — к русским. Лишь тем до сих пор кое-как и держались.

— Кто идет из других князей? — спросил Юрий, часто помигивая. — Велика ли рать?

— Только мы. — Ингварь растянул губы в улыбке, надеясь, что она получилась победительной. Врать не имело смысла — Юрий скоро сам увидит. — Но Борис дружину поставил наново, обучил рытарскому бою. Не устоит Тагыз. Мы его врасплох возьмем.

— Какому бою? — переспросил Юрий.

— Рытарскому. Так крестоносцы с сарацинами неверными бьются и поражений не знают.

Не помогла самодовольная улыбка, и уверенный тон не помог.

— Коли вы одни идете, не могу я вас через свои земли пустить. — Забронец замахал руками. — Мне потом за это орда всю отчину пожжет. И не думай, и не проси!

— Разве я тебя прошу? — еще шире ухмыльнулся Ингварь. — Борис уже по твоей земле идет. Часа через три будет под стенами. А у тебя в Забродске, я видел, только малая дружина. Прочие все на половецком рубеже. Соглашайся добром, иначе твой город пожжет не Тагыз, а мой брат. Нынче же.

Юрий ощерил желтые, кривые зубы.

— А ты-то? Ты-то, князь свиристельский, здесь! Если твои сунутся, тебе конец!

Пожав плечами, Ингварь сказал:

— Я теперь не князь. Борис вернулся, меня отставил. Тебе про то твои лазутчики, верно, уже донесли. — Он наклонился вперед, ухмылку убрал и заговорил проникновенно, доверительно: — Я ведь, Юрий, к тебе не грозиться приехал, а по-братски. Муж ты мудрый, рассуди сам. Пройти через Забродье ты нам помешать не можешь — только себе хуже сделаешь. Нас немного, победить Тагыза нам будет трудно. Если мы в Степи все поляжем, придется тебе — прав ты — перед половцами ответ держать: пошто пропустил? А теперь возьми и по-другому взгляни. Кому из князей от Тагыза

больше всего горя? Тебе. А кому будет главная выгода, если Тагыза не станет? Опять тебе. Раньше ты по своей слабости о том и не мечтал. Но вместе, неожиданным ударом, мы хана в Улагае голеньким возьмем! Не успеют курени ему подмогу прислать. Скажи, велика ль твоя дружина?

— Сорок конных, девяносто пеших, — тихо ответил забродский князь. Он слушал, сдвинув редкие брови, почти не дыша.

— Да нас двести сорок! Это же сила! У Тагыза в ставке всего сотня ланганов и в городке сколько-то беспанцырной черни. Вместе мы их сокрушим! Подумай, Юрий Глебович, как твоя отчина заживет, если половцы хвост подожмут. А сколько возьмем добычи! Ты слышал, как богато Тагыз на Царьград сходил?

Долго еще Ингварь толковал с Юрием. Взывал к разуму, пугал Борисовым гневом, манил прибытками и выгодами.

В конце концов убедил. Правда и то, что деваться забродцам было некуда. Или к одному лагерю прибиться, или к другому. Половцы были далеко, а свиристельцы — у ворот.

Ударили по рукам. Сладились.

Вот теперь, с забродской дружиной, из похода, пожалуй, мог выйти прок. Если очень сильно повезет.

* * *

Дикое поле начиналось сразу за пограничной рекой Смертью, которая называлась этим страшным именем с незапамятных времен, когда еще никаких половцев не было и по бесконечной равнине бродили другие хищники, печенеги. Их прогнал мудрый Ярослав, великий прапрапрадед, и после этого целых тридцать лет Русь жила спокойно, не ожидая с востока напасти. Про те блаженные, сытые годы можно прочесть в летописях, но верилось с трудом: как это возможно, чтобы за Смерть-рекой не ходили грозовые тучи, не рокотали громы, не посверкивали молнии?

Во времена прапрадеда Святослава из неведомых глубин Степи налетела новая саранча и с тех пор всё терзает, терзает русскую землю, насланная за грехи и распри неразумных потомков Ярослава. Иногда, редко, им удавалось меж собой договориться, собрать союзную силу — и тогда орды отступали, но такого давно уже не случалось. В недавние годы галицкий князь Роман, орел высоколетящий, ходил на половцев с большой ратью, южнее здешних мест, но курени поднялись и ушли, растаяли в бескрайних просторах. Мощный кулак рассек пустоту. Чести от того похода обрелось немного, добычи — и того меньше. Трудно воевать с врагом, у которого нет

ни настоящих городов, ни деревень, ни пашен. Будто на тучу комарья машешь мечом.

Борис был прав в одном: ударить малой силой, пусть немощно, но зато быстро — только так можно досадить степным кровососам.

Шли хоть и споро, но без спешки — только в темное время. Пересекли Смерть-реку после заката, всю ночь двигались не останавливаясь, а перед рассветом спрятались в балке. Костров не разводили, оружием не звенели, морды коням обмотали тряпьем, чтоб не ржали. По краям оврага залегли дозорные.

Весной или в начале лета на свежей зелени от копыт и колес остался бы след, но на исходе августа трава лежала желтая, сухая, мертвая, а голые места, где песок, войско обходило стороной. Путь указывали забродские проводники — они знали здесь каждую пядь.

Первый переход и первая дневка получились удачными. Половцы врага не заметили.

На следующую ночь было то же: шли скоро и бесшумно, без отдыха. Отмахали верст сорок. В предутренних сумерках затаились в двух соседних балках — слева свиристельцы, справа забродцы. Еще бы один ночной бросок, а там и до Улагая рукой подать.

Дружинники с ополченцами расположились по тенистой стороне оврага. Солнце, поднимаясь в небо, палило всё жарче, а воды было мало — только та, которую привезли в кожаных бурдюках. Зато еды хватало. В двухколесных тележках лежало тысяча двести пайков, пятидневный запас на двести сорок человек. Ингварь сам придумал: быстро, удобно. В мешочке вяленая говядина, сухари, репа, морковь.

Жуя тугой лоскут мяса, Ингварь поднялся по склону. Там, притаившись в буйном ковыле, сидел Борис, всматривался в даль.

— Ты? — коротко обернулся он. — Что-то у забродцев шумно...

В самом деле, из соседней балки, до которой было шагов триста, доносились голоса. Лязгнуло железо, кто-то громко выругался.

— Союзнички косоглазые... — процедил Борис. — Одно название что русские. Я чего опасюсь. Когда мы с Тагызом сойдемся, не ударит нам Юрий в бок иль в спину?

— Может. Если битва неладно пойдет...

— Гляди! — вскрикнул брат.

Из оврага, в котором сидели забродские, скачком вылетел всадник на низкорослой половецкой лошади. Наметом понесся в эту сторону.

Солнце светило в глаза — больно смотреть. Ингварь вскинул к бровям ладонь.

Это был Юрий.

Борис крикнул:

— Эх! Что ж он, собака, явью скачет, по открытому?!

Забродский князь разглядел братьев за ковылем, осадил коня. В седле он сидел по-степняцки: одна нога согнута в колене, лежит поперек холки.

— Заметили! — крикнул он. — Двое каких-то! Рысью ушли, не догнать. Теперь таиться нечего. Трубите в рог, свиристельские! Напрямки к Улагаю пойдем! Поспешать надо.

Как действовать на такой случай, было заранее сговорено. Все конные, полсотни забродских и двадцать свиристельских, погнались вперед — обложить Улагай, чтоб Тагыз-хан не успел увезти в дальнюю степь обоз с добром. С всадниками ушли Борис и Юрий. Ингварь с Добрыней и забродский боярин Тучка повели пешее войско, скорым шагом, но не выматывая. Пройти оставалось верст сорок или сорок пять.

Привычные к военному ходу дружинники двигались быстро и уставали мало, но ополченцы скоро начали задыхаться, растягиваться длинной

вереницей. Поэтому Добрыня велел делать остановки. Через три часа устроили первый привал. Отшагали еще два часа — пообедали. Здесь опытный Путятич дал людям поспать до заката, не стал томить самым тяжким, предвечерним зноем. Зато потом, по прохладе пошли легко и до рассвета остановились только однажды, возле чудом не пересохшей речки — попить и освежиться.

Несколько раз во тьме стучали копыта. Однажды над головами просвистело несколько стрел, но никого не задело. Близо кружили половецкие разъезды. Колонна сбилась плотней. Нужду, кому приспичит, справляли не отходя в сторону — боялись.

А когда небо на востоке побледнело, из сизой мглы навстречу выплыл огромный всадник — Борис. С ним Шкурята и еще несколько рытарей.

— Всё готово. Только вас и ждали! — весело объявил брат. — Ну, орлы-соколы, будет нынче потеха! Попался Тагыз! Возьмем, никуда не денется!

* * *

Послушав брата и оглядевшись на местности, Ингварь понял, что не больно-то Тагыз и попался, а «взять» его будет ох нелегко.

Захватить Улагай врасплох не получилось. Хан не успел скрыться в степи, но изготавиться к обороне времени у него хватило.

Отсидеться в городе ему было нельзя — ни стен, ни валов половцы не ставили, но неподалеку возвышался большой курган с плоской, выровненной веками и ветрами верхушкой. Там и засел Тагыз, поставив повозки кольцом, а лошадей отогнав прочь.

Воинов у хана было немного: сотня отборных ланганов и еще сколько-то улагайских жителей. Остальные половцы, прихватив баб с ребятишками и забрав скот, ушли. Город стоял пустой, но кому он нужен? Кибитки да глинобитные лачуги, брать там было нечего.

А вот в повозках, которые Тагыз не захотел бросить даже ради собственного спасения, по словам Бориса, хранились несметные сокровища. На телегах стояли мощные самострелы, бывшие на пятьсот шагов, а если подойти еще ближе, половцы начинали стрелять из луков так густо, что рябило в глазах.

На военном совете, в котором участвовали три князя и два боярина, говорил всё больше Борис. Остальные слушали.

— Медлить нельзя, — рубил он воздух ребром ладони. — Курган надобно взять не позднее по-

лудня, не то подойдет ближний курень, что кочует в тридцати верстах к югу, и ударит по нам с тыла. На то у Тагыза и расчет — отсидеться до подмоги. В ханской охране сотня латных дружинников. Простых нунганов, может, против того вдвое, но они бесколючужные и хороши только стрелы пускать, в сече от них проку мало. Нам бы внутрь кольца прорваться, а там покромшим их мечами и топорами, переколем копьями.

— Так навалимся разом, и дело с концом, — сказал Ингварь. Он поглядел на недалний холм и подумал, что это, пожалуй, не очень страшно: в толпе, толкаясь плечами, с криком, побежать всем вместе — сначала по полю, потом по некрутому склону. А дальше, Борис говорит, уже просто будет.

— «Навалимся», — передразнил брат. — Если мы поведем наступление кучей, они тоже все на одну сторону соберутся. Как начнут стрелами сыпать — за минуту тыщи три выпустят. На каждого из нас почти что по десять штук придется. Нет, тут хитрей надо. Мы встанем с четырех сторон, чтоб Тагыз своих по всему кругу расставил. Пехота бежит медленно, потому начнем конницей. Взлетим наверх с разгона — ахнуть не успеют. У поганных, поглядите, телеги не вплотную стоят. Через зазоры и врубимся. А тем временем

пешие подоспеют. Конницей тоже ударим не в одном месте, а в двух. Я с юга. Ты, Юрий, с севера. Свиристельскую пешую дружину и ополчение Добрыня и Ингварь с востока поведут. Твой Тучка забродских копейщиков — с запада.

Юрий Забродский, поразмыслив, предложил:

— Твои конники лучше моих закованы. Идите вы первыми. А как лучники с моей стороны на вашу побегут, тут и я двину.

Борис спорить не стал:

— Пусть так. Тебе за курганом будет не видно, когда мы пойдем, так я в рог протрублю. Выжди минуту-другую — и вперед. А вы, — он поглядел на Добрыню и Тучку, — бегите со своими, как только я второй раз протрублю, уже от самых телег. Я впереди всех буду! — гордо молвил Борис.

«Какой он ни есть, а не отнимешь — герой, — подумал про брата Ингварь. — Вот и выходит, что Трыщан — он, а не я. И нечего мне на Ирину за неверность досадовать...»

Мысль была горькая. За ней последовала другая, тоже невеселая, но странно утешительная. А хорошо бы нынче голову сложить. На что такая жизнь — без Ирины? Хоть вспоминать будет: был такой незадачный витязь, любил всем сердцем, да сложил голову за отечество. И ей бу-

дет не стыдно, что вышла замуж за другого. Мертвым не изменяют...

— Сговорились? — потер ладони Борис. — Тогда расходитесь по сторонам, расставляйте своих. Ныне буду в броню наряжаться. Это час, не меньше. Помни же, Юрий: пойдешь, когда я вот так протрублю.

Он снял с пояса гнутый, не русского вида рог, поднес к губам. Раздался высокий, протяжный звук, от которого у Ингваря тоскливо сжалось сердце.

— Ну, брат, обнимемся, — сказал Борис — но не Ингварю, а Юрию. — Поклянемся друг дружке, что либо добудем славу и богатство, либо в землю ляжем.

— Это да, — согласился забродский князь, кряхтя в могучих объятьях.

— Гляди, Путятич, не промедли. И ты, Тучка, тоже, — погрозил Борис пальцем боярам. — Мы, конные, долго без вас наверху не удержимся. Шкурята! Роланда заковали? Латы мои разложили?

И зашагал прочь, на Ингваря даже не взглянув. Ушли и забродские.

— Что Борисов замысел, Добрыня? — спросил Ингварь. — Правда, хорош?

Боярин качнул головой.

— Больно мудрен. В бою чем проще, тем лучше. Ан ладно. Как выйдет, так и выйдет. Пойдем, княже, и мы снаряжаться.

В свои доспехи, не такие тяжелые, как у брата, Ингварь обрядился быстро. Отцовская кольчуга, слишком широкая, висела и звякала. Пришлось насовать внутрь тряпья. Добрыня сказал, что так еще лучше: если сильно пущенная стрела пробьет чешую, до тела не достанет. Шлем только был тесноват — не слетел бы. Пришлось обмотаться поперек лба белой лентой.

— А вот это зря, — не одобрил Путятич. — Лучше сними. Издали видно, что князь. Лучники будут по белому целить.

Протянул Ингварь руку к ленте, но стало стыдно.

— Я и есть князь. Чего мне прятаться?

Воины лежали в траве, готовые к бою: впереди сто двадцать дружинников, которые пойдут первыми, прикрыв ополченцев, у которых ни щитов, ни кольчуг.

Поп Мавсима ходил меж рядов, махал кропилом, брызгал во все стороны святой водой.

— ...А кому нынче помереть, не бойтесь, — гудел он. — За честную воинскую смерть Бог все грехи простит. На том свете лучше, чем на этом.

С кем бы попрощаться, думал Ингварь. Выходило, что не с кем. С Ириной бы, но она далеко. С воинами нельзя — нечего людей зря пугать, хватит с них протопопова увещевания.

Разве с Васильком?

Пошел назад, где в овражке, с тягловыми лошадьми, был привязан буланный.

— Прости, друже, что обижал, плеткой охаживал. Видишь, иду в бой пеший. Может, не свидимся, — сказал Ингварь, обнимая теплую конскую морду. Василько косил глазом и шумно вздыхал, будто понимал.

А больше делать было нечего. Только ждать. Очень уж долго собирался Борис. Или это время тянулось так медленно?

— Вернись к людям, — позвал сверху Добрыня. — И не кисни. Улыбайся, гляди кочетом, шутки шути. Ты — князь, на тебя смотрят.

Вот и дело нашлось. Стал ходить взад-вперед, растягивать губы до самых ушей. С шутками только не получилось — ничего такого на ум не шло. Держался всё больше около мужиков, которым, конечно, было страшней, чем дружинникам.

Говорил нескладное:

— Ничего, ничего... Вместе... Как-нибудь... Что уж, раз дошли... Надо.

Добрыня шикнул:

— Молчи лучше. Так ходи.

...Вот поодаль, с южной стороны от кургана, шагах в двухстах, выехал на пустое место огромный стальной всадник на таком же стальном коне. Поднял копьё, что-то неразборчивое задорное прокричал. К нему съехались конные. Ох, немного. Отсюда посмотреть — малая кучка.

Но грянул залиvistый хохот, от которого заволновались, завскидывались кони. Борис повысил голос, и теперь стали слышны слова:

— За мной, братие, клином! Я их взрежу, как нож масло!

Красиво запрокинул голову, протрубил в рог. Потом опустил забрало, тронул коня шпорами, наставил копьё.

Поскакал!

Два десятка верховых пристроились сзади, словно выводок утят за уткой, но вскоре начали отставать — Роланд шел ходко, всё больше набирал скорость. Высокая сухая трава стелилась под копыта, в стороны летели черные комья земли.

— Изгото-о-овсь! — тонким (самому слышно, что неприятным) голосом завопил Ингварь. Сзади загремело железо, воины поднялись, сгрудились, но он не обернулся, смотрел лишь на поле.

Небо над атакующим отрядом почернело от крошечных черточек. Лучники метили в переднего всадника. Стрелы дробно цокали, ударяясь о панцирь коня, о латы князя — и не причиняли никакого ущерба.

Вот Борис уже начал подниматься по склону, совсем немного замедлив бег.

Вокруг Ингваря орали, колотили мечами по щитам дружинники, и сам он тоже кричал.

— Что же Юрий? — оглянулся на Добрыню. — Минута прошла, пора!

Забродская конница, сбившаяся в плотную стаю с противоположной от Бориса, северной стороны, не трогалась с места.

— Юрий не пойдет, пока наверху не начнется сеча, — ответил боярин и охнул, словно от боли. За спиной у неуязвимого всадника упал вместе с конем кто-то из дружинников — не все стрелы летели только в Бориса. — Никак Стеньшу Волошца свалили...

— Тогда давай мы! — Ингварь всё смотрел на брата, бывшего уже на середине подъема. — Пособим!

— Людей зря положим. Видишь, с нашей стороны сколько было стрелков, столько и осталось.

С кургана донесся гулкий, раскатистый звук — брякнула тетива одного из больших са-

мострелов. Прежде они бездействовали. Ждали, пока конники приблизятся, чтобы бить наверняка.

Роланд поднялся на дыбы, на мгновение-другое застыл так, со вскинутыми копытами. Повалился на бок, подмял всадника.

— А-а-а! — прокатился по рядам горестный вопль.

— Доспех коню пробило! — выдохнул Добрыня. — Конец Борису. Сам не поднимется!

Конные дружинники мчались на помощь князю, но теперь с холма били уже не по головному всаднику, а по ним. Один кувырком полетел из седла, другой закачался, выронил меч и щит, двоих скинули раненые лошади... Остальные, так и не добравшись до Бориса, начали поворачивать обратно. Еще один упал вместе с конем. И еще. И еще.

Атака захлебнулась и рассыпалась. Уцелевшие во весь опор мчались обратно, а вслед им свистели бесчисленные стрелы. Юрий Забродский со своей полусотней стоял там же, где был.

Борис копошился на земле, пытаясь выбраться из-под коня.

— Добрыня, веи людей! Так на так пропадать! — крикнул Ингварь. — Скорее, брат гибнет!

— Пускай его, — ответил боярин вполголоса. — Пожди чуток. Сейчас ударим...

Прищуренными глазами он смотрел на вершину кургана. Ингварь увидел, как через повозку перелезли две юркие фигурки, стали спускаться к лежащему всаднику. Половцы! Прикончить хотят!

— Братцы, вперед! — заголосил Ингварь, оттолкнув Добрыню. — Вперед!

Бежать в тяжелых доспехах было трудно. Сначала Ингваря обогнали дружинники, а потом и ополченцы в серых рубахах. Все орали, хрипели. В воздухе по-змеиному шипели стрелы.

— И-и-и-и-и!!! — С визгом, задев острым локтем, мимо пронесся козлобородый мужик с зажмуренными глазами. Налетел на кочку, кубарем покатился по земле, но визжать не перестал. Споткнулся и Ингварь — о человека, который сидел и пытался вырвать из груди стрелу.

Упал.

Кто-то подхватил ниже подмышки, помог подняться.

Путятич.

— Меня держись. Вперед не лезь! Эх, забродчане, гады! Всё стоят.

Ингварю забродских было не видно — только спины впереди: одни серые, холщовые, другие серебристые, кольчужные.

Бежал уже не по ровному, а вверх по скату. Как в плохом сне — бежишь-бежишь, а всё вроде на месте.

Увидел старого дружинника, Сенца. Тот не орал, умело прикрывался щитом, спокойно поглядывал вокруг. Вот на кого можно положиться!

— Сенец, возьми двоих, бегите к князь-Борису! Вынесите в поле! — крикнул Ингварь.

Кивнув, Сенец отстал.

А передние уже не бежали. Останавливались, толпились, налезали друг на друга.

Оказывается, вершина кургана — вот она, рядом.

На сдвинутых повозках стояли плечом к плечу ужасные чудища: сплошь железные, с железными же харями — бычьей, волчьей, кабаньей. Вместо глаз чернели дырки.

Это были ланганы из ханской охраны. В бою они опускали забрала со звериными личинами.

Те, что влезли на телеги, рубили стоявших внизу кривыми саблями; другие тыкали копьями — не только сверху, но и снизу, из-под колес.

— Посторонись! — гаркнул Добрыня.

Оттолкнув дружинника, рванулся вперед, ударил одного половца рогатиной в грудь. Другого схватил за ноги, дернул. Еще двое, испугавшись, спрыгнули на ту сторону.

— Снимай их копьями, как я! Вали! — кричал боярин. Он был уже наверху.

Полез к нему и Ингварь. Выпрямился.

С телеги было всё видно. Оба забродских отряда — и пеший, и конный — стояли по-прежнему, но весь восточный склон кургана был заполнен свиристельцами. Они карабкались на телеги, а некоторые уже были внутри кольца. Стрелы больше не летали, началась сеча.

Совсем близко, шагах в тридцати, над круглыми половецкими шлемами торчал шест с белыми лошадиными хвостами. Под ним сидел на вороном коне человек в сверкающем, будто рыба чешуя, доспехе и размахивал руками.

Это и есть Тагыз, понял Ингварь.

Заметил его и хан. Показал, что-то крикнул.

Телега закачалась, на нее поперли звериные личины. Но путь им преграждали свои дружинники. Поднимались и опускались клинки, топоры. Сталь билась о сталь. Пахло кровью, потом, мочой.

— Стой здесь! Пусть тебя всем видно будет! — прорычал Добрыня. У него поперек щеки ниткой тянулись мелкие красные брызги. — А я туда! Надо бунчук сбить! Тогда побегут! Ы-ы-ы!

Он взревел и прыгнул прямо в кучу-малу.



Все скопище заколыхалось, попятилось к шесту. Звериные личины одна за другой падали.

Ингварь стоял, где велено, только вздел повыше белую ленту, да поворачивался во все стороны. Что было силы махал мечом, кричал:

— Вперед! Вперед!

Серебрёный шлем боярина сверкал на солнце, подбираясь всё ближе к белым конским хвостам. Вот шест покачнулся, начал падать. Выровнялся. Опять дрогнул.

Упал! Упал!

Хана было уже не видно. То ли вышибли из седла, то ли сам прыгнул.

Откуда-то донесся топот, нестройный шум. Это наконец пошли в наступление забродцы, с двух сторон.

А серебрёный шлем пропал.

— Добрыня! Где ты?!

Ингварь прыгнул с повозки, но убежал недалеко. Снизу крепко обхватили за ногу. Колено пронзила острая боль. Кто-то впился в него зубами. Князь хотел ударить мечом, но вовремя увидел: свой. Ополченец с залитым кровью лицом вслепую рвал зубами мясо.

— Пусти!

Еле выдрался.

Куда бежать? В какую сторону? Все вокруг метались, орали, толкались.

— Князь, князь! Гляди! — кто-то тянул за руку, волок вперед. — Вон он! Убили!

Столпившись в тесный круг, дружинники кололи куда-то вниз копьями. Нога в зеленом сафьяновом сапоге с загнутым носком дергалась под ударами.

— Хана убили!

— Где Добрыня? — спросил Ингварь, отвернувшись.

Его повели еще куда-то.

Боярин лежал ничком, без шлема. На разрубленной шее, ниже затылка, пенилась темная кровь.

Сев на землю, Ингварь повернул Добрыне голову. Потрогал веко на открытом глазу. Прикрыл. Заплакал.

Ему кричали:

— Что ты плачешь, княже? Победа!

— Победа-а-а! — завопила где-то луженая глотка — так оглушительно, что Ингварь обернулся.

На повозке, возвышаясь над всеми, стоял Борис. Он был без шлема и без латного нагрудника, в одной кольчуге. Лицо в грязных разводах, усы повисли. Увидел брата, погрозил кулаком.

— Чего так долго подмогу вел, Клюква? Я чуть не сгинул! Эй, охрану к телегам! Кто су-
нется грабить — рубить без жалости! Это что там
за вороной конь? Тагыз-ханов? Мой будет!

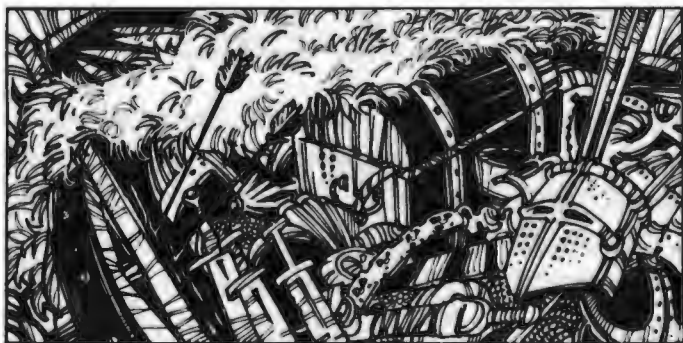
Набрал в грудь еще больше воздуха, надсадно
выкрикнул:

— Молодцы, свиристельцы! Не подвели сво-
его князя! Слава-а-а!

Множество голосов ответили в едином по-
рыве:

— Борисла-а-ав!





ПРО БОЖЬЕ ШЕПТАНИЕ

— Эх, дура, куда ж ты глядел? Князь-то, Сокол-то, один на поганных скакал, будто святой Егорий на змея. На него стрелы так и сыплются, неба от них не видать, а ему хоть бы что. Скачет и скачет! Всем витязям витязь! Про таких в былинах рассказывают! Без него нам бы нипочем курган не взять.

Ингварь покачивался в седле, слушая разговор идущих сзади дружинников. Над ночной степью светил узкий месяц. Обоз и пешие растянулись в длинную линию, по обе стороны от которой ехали верховые, зорко вглядывались в темноту, но опасаться было нечего. На победителей не нападают. После улагайского разгрома курени наверняка улепетывают кто куда. Со временем орда, конечно, оправится, но не скоро. Те-

перь у них начнется междоусобица, грызня за ханское место, да и потом еще долго будут помнить полученный урок.

Двигались медленно. На повозках кроме захваченного добра лежали раненые, их быстро не повезешь — кричат, жалуются. А и куда торопиться?

Победа далась дорого. Тридцать семь душ отпел поп Мавсима, тридцать семь тел закопали прямо там, на кургане. По дороге в первый же день померли трое, и были еще восемь тяжелых, кого дай Боже до родной земли довести, дома схоронить. Из тех, кто ранен легче, тоже кто-то преставится, от гнойного недуга — это всегда так.

Заплачет Свиристель от такой победы, но что поделаешь: война.

Мертвых половцев не сосчитали. Они полегли все, до последнего человека, потому что в плен никого не брали. Свалили ланганов с нунганами в несколько куч у подножия холма — пускай свои хоронят. Только хана Борис велел положить на пустую телегу, с почетом — все же двоюродный, от одного деда.

Брат держал себя так, будто вся заслуга была его, а не Добрыни Путятича, который лег в общую могилу с остальными в брани убиенными. Сразу после сечи, над еще не остывшими лужа-

ми крови, Борис сказал речь — всех похвалил, всем польстил и себя не забыл. Теперь всё войско только и говорит: потому только и сумели на холм ворваться, что князь-Сокол на себя половецкие стрелы навлек. Там же, на кургане, Борис посулил щедрую награду. Мужикам-ополченцам по гривне серебра, пешим дружинникам — по две, а конным, кто с князем в зряшную атаку ходил, — по четыре.

От такого расточительства Ингварь было ахнул, быстро прикинув итог братниной расточительности. Но когда стали осматривать добычу, успокоился.

Такого богатства он в своей жизни еще не видел.

На тридцати повозках, взятых у Тагыз-хана, чего только не было! Франкские мечи и доспехи, узорчатая конская сбруя, несколько сотен сапог цветной кожи, тюки ткани, золотые ризы! Да целый воз серебра — монетой, кубками, подсвечниками, иконными окладами! Да сундук золота!

Сразу было и не сказать, сколько это получится, если перечесть на гривны. Но по дороге, пока воины вспоминали бой и друг перед дружкой бахвалились, Ингварь, конечно, всю добычу как следует осмотрел и в длинный свиток записал. Добро — оно цифирь любит.

По самому скромному счету, после всех дач, какие Борис пообещал людям, выходило не менее трех тысяч.

Забродчанам Борис с половецких повозок ничего не дал, а их князя прилюдно бранил всякими словами — за то, что уговор нарушил и полез в бой, когда бить было уже некого. Юрий не смел и огрызнуться. У него, стыд сказать, на всю дружину было двое легко раненных. Получил от Бориса брошенную половцами отару овец в тысячу голов — только и всего. Сейчас забродские плелись сзади, в огромном облаке пыли, с ужасным блеянием.

Только на пятый день достигли русской земли и там распрощались с лядским союзником — без обид, но и без сердечности.

На седьмой день наконец вышли к Локотю.

Весть о великой победе уже разнеслась по всей отчине, и воинов встречали людно. Кто радостно кричал, а кто и плакал.

По родному краю Борис двигался важно. Сам — впереди, гордо подбоченясь, на вороном ханском коне. Потом конные под стягом. Потом, стройно, пешая дружина. Сзади ополченцы вели длинный обоз.

Ингварь держался поодаль, возле телег, на которых охали и стонали раненные. Их утешал и

врачевал Мавсима, который кроме Писания знал и лекарскую премудрость.

Вполголоса, чтоб никто не услышал, Ингварь попросил попа поглядеть на колено. От укусов оно начало пухнуть и болело, но рана была такая, которой не похвастаешь. Мавсима наложил какую-то траву, туго обмотал. Стало легче.

Конечно, было досадно, что брат так ни словом и не похвалил. Пускай Ингварь ничем особенно не отличился, но и не подвел же? Оно конечно, Борис — былинный богатырь, но курган-то взяла пехота, а вели ее Добрыня с Ингварем! Но про это никто уже не помнил.

По мере приближения к Свиристелю брат делался всё молчаливей. С дружиной не шутил. Стал на себя непохож — всё сунул брови да о чем-то вздыхал.

Спесивится, думал Ингварь. Поди, теперь отправится в Чернигов, а то и в Киев — кичиться перед другими князьями, какой он над погаными победитель. Забыл, как на земле корячился черепахой, вверх ногами перевернутой? Кабы не Сенец, так и валялся бы там до окончания боя...

Но злобиться на брата было глупо и грех, души помутнение. Еще большее было представлять, с каким восторгом блистательного Трыща-на встретит Ижота.

— Что печален, сыне? — спросил Мавсима. —
О чем тужишь?

— Скажи, — повернулся в седле князь, — а
справедливости на свете вовсе нет?

Поп поглядел на него, потом на едущего в
прегордом одиночестве Бориса. Вздохнул.

— Если в Бога не веровать — считай, что нету.
А кто верует, тот знает: за гробом всё выровня-
ется. Кто при жизни свое, заслуженное, недопо-
лучил, но от злобы и зависти душой не усох,
тому воздастся сторицей. Господь — он всему
счет ведет. Еще точнее, чем ты сводишь доходы
с расходами.

Однако понял, что это рассуждение Ингваря
не утешило, и прибавил с убеждением:

— А еще, если чего-то очень сильно хочешь,
нужно молиться. Господь милостив. Коли жела-
ние не греховное, обязательно услышит и вся-
кий узел, даже самый запутанный, развяжет.
Только веры не теряй и против своей души не
пакости. Молись, сыне.

— Что мне еще остается? — пробурчал Ин-
гварь, отворачиваясь.

Он уже всё решил. Пока неделю тащился че-
рез половецкую степь, забродские пастбища,
свиристельские поля, было время подумать — и
про себя, и про будущее.

Последние два года он жил как? Работой и любовью. Княжество, а с ним работу отобрал Борис. Любовь — тоже. Можно было бы, как уговаривал покойник Добрыня, устранить корень всех бед, но что тогда случилось бы с душой? Есть ли у человека бóльшая ценность, чем душа? Недаром ведь Лукавый сулит за нее любые земные сокровища, и люди нетвердые, неразумные на те уговоры поддаются. Но какой из тебя Трыщан, если ты братнину кровь пролил, пусть даже не сам, а чужими руками? Достоин ли братоубийца Ижотиной любви? То-то.

Нужно вернуться к прежнему — к тому, на что готовил себя при отце.

В монастыре живут и без работы, и без любви. Как мечталось когда-то. А то, чем поманила жизнь, — пустое и тщета.

Теперь есть деньги поставить не скромную обитель, на несколько келий, как думалось раньше, а настоящий большой монастырь, с высокими стенами, чтоб отгородиться от забот и шумов суетного мира. Собрать со всей Руси и даже из-за ее пределов ученейшую братию. Писать и переписывать книги, разрисовывать страницы многоцветными узорами и картинками — не ради сегодняшнего часа, но ради вечности. Никого из

ныне живущих давно уж не будет, а книги останутся.

По Ярославовой правде можно бы у брата собственный удел истребовать, но еще мельче дробить Свиристель уже некуда. Пускай Борис княжит один.

Довольно будет забрать половину взятой на меч добычи, как установлено законом и обычаем. Полторы тысячи гривен — большущее богатство. На монастырь столько и не понадобится.

Нужно будет отдать черниговским ростовщикам долг, взятый под честное княжеское слово. Пожаловать гривны по три семьям погибших — от Бориса вряд ли дождутся. Сколько это останется? Всяко больше тысячи.

Этим богатством распорядиться следует вот как. Сначала присмотреть где-нибудь в лесном северном краю — Владимирском или Новгородском — хорошее озеро, а еще лучше остров на озере. Поклониться великому князю или, если на Новгородчине, посаднику сотней-другой. Могут и так землю дать — хороший монастырь с игуменом Рюриковой крови всякому иметь лестно. Нанять дровосеков и плотников будет стоить...

И Ингварь погрузился в долгие мысленные исчисления. Арифметика, как всегда, действовала утешительно.

* * *

К городу подъехали на закате. Стены, коньки крыш, колокольня на красном небе казались черными.

Солнце, наполовину ушедшее за край земли, слепило последними, яркими лучами. Смотреть в западную сторону было трудно. Река Крайна переливалась малиновым золотом. На том берегу, где переправа, стояла толпа. Похоже, встречать дружину вышел весь город.

— А ну, молодцы! Гляди львами! — крикнул, обернувшись, Борис и приосанился. — Клюква, что сзади тащишься? Ко мне давай, по левую руку! Стяг — вперед, справа от меня!

Толкнув каблуками Василька, Ингварь выехал вперед — но остался чуть позади брата. Пускай один покрасуется. Будущему чернецу земное-суетное не надобно.

Но минуту спустя земное-суетное укололо в самую душу, только-только начавшую успокаиваться.

От противоположного берега шел паром. И там — скоро стало видно — кроме старшего тиуна, оставленного смотреть за городом, стояли еще двое: толстяк в княжеской шапке и женщина. Нет, не женщина. Дева...

— Гляди-ка, сосед пожаловал. И княжну прихватил, — сказал Борис и закашлялся.

От вида Ирины перехватило горло, догадался Ингварь. Сам-то он вцепился рукой в седельную луку — закачало.

Борис беспокойно заерзал, покосился на брата. Вспомнил, должно быть, про свое иудино окаянство. Но ничего не сказал, а лишь прищипорил коня — поспешил навстречу невесте и будущему тестю. Ингварь нарочно отстал. Надо было укрепить сердце.

— ...воссияет на всю русскую землю! — услышал он, подъезжая, густой голос Михаила Олеговича. — Дай, облобызаю тебя, зятюшка! Руси тебя Господь послал!

Борис свесился с седла, давая радомирскому князю себя обнять.

Заметив Ингваря, Михаил улыбнулся и ему.

— И ты молодец. Пособил, чем мог. Ох, брат у тебя — сокол ясный, орел прегордый! — И снова повернулся к Борису, держа его за локоть. — Сойди-ка, сыне, потолкуем о нашем общем деле. Только дай невестушке тебя повеличать.

Ирина, лицо которой скрывала вечерняя тень (да Ингварь и не смел в ту сторону смотреть), поклонилась герою в пояс. Борис, спрыгнув на землю, тоже наклонил голову — как-то неловко,

со смущением. Это было непохоже на его всегдашнюю уверенную повадку, и у Ингваря сжалось сердце: любит ее Борис, любит!

И то, что жених с невестой ни словом не перемолвились, тоже было красноречивей всяких излияний. Ингварь и сам, встретившись с любимой после разлуки, вряд ли нашелся бы, что сказать...

Вдруг он понял, что придется подойти к княжне, потому что она осталась стоять одна. Михаил с Борисом, по-родственному полюбившись, отошли в сторону. Радомирский князь что-то оживленно говорил. Борис, опустив голову, слушал.

В растерянности Ингварь застыл на месте. Как приблизиться? С какой речью обратиться?

Но Ирина сама шагнула ему навстречу.

Ее лицо было всё в движении: брови взволнованно подняты, глаза сияют, нежные губы дрожат.

— Ах, какую книгу я прочла! — воскликнула княжна неожиданное. — Если б ты только знал!

— Книгу? — Ингварь заморгал. — Какую книгу?

— Которую Борислав Ростиславич подарил. Всю душу мне эта книга перевернула!

В самом деле, вспомнил Ингварь, Борис купил у новгородских купцов какую-то книгу на иноземном наречии.

Мрачно сказал:

— Он тебе еще много подарит. Теперь у него богатство...

Не слушая, Ирина всплеснула руками:

— Как я рада, что ты живой! Я так о том молила Матушку-Богородицу! Чтоб ты вернулся и тоже эту книгу прочел. Она, правда, по-франкски писана, но я бы тебе перевела!

Всего на миг обожгло Ингварю сердце — когда она про молитву сказала. Но, оказывается, он Ирине нужен, только чтоб вместе книгу читать...

— Там сказывается про любовь, которая выше, чем у Трыщана и Ижоты! — стала рассказывать княжна, и на глазах у нее выступили слезы. — Ах, сколько я плакала! И ты заплачешь, когда я тебе прочту! Ты один только и поймешь, а более — никто...

— Не прочтешь. — Он кивнул на беседующих князей. — Ты теперь станешь мужняя жена. Нам наедине нельзя будет... Да и уеду я скоро.

Последнее он произнес очень тихо. Она, кажется, не расслышала — смотрела на своего жениха.

— Брат твой — герой. И собою пригож. Но я с ним быть не хочу. С тобой хочу, — вдруг сказала Ирина, тоже еле слышно. — Коли уезжаешь, возьми меня с собой...

Ингварь шатнулся — земля словно закачалась под ногами.

— Увези меня, милый, — жалобно молвила Ирина. — Все равно куда. Ничего мне не надо. Только две книги с собой возьму. Сяду к тебе на коня, обнимешь меня крепко, и поедем куда глаза глядят. Как Ижота с Трыщаном на картинке. Помнишь?

— Я... Я... — Он пробовал совладать с голосом, чтоб не дрожал, но не получалось. — Не могу я... Борис, наверно, увез бы... ни о чем не думал бы. А я не думать не умею... Куда я тебя увезу? На какую жизнь? Погублю только... Нет, Иринушка. Видно, не судил нам Господь вместе быть. Я в монахи постригусь. Если не ты — другой жены мне не надобно. Уеду отсюда далеко. За леса, за реки. Буду за тебя Бога молить. Монаха-то Он скорее услышит...

И не мог больше говорить. Осрамился, заплакал навзрыд.

Княжна же взволновалась пуще прежнего, за сердце схватилась.

— Ах, откуда ты узнал?! — вскричала. — Прото и в книге писано! Там юная дева именем Елоиза полюбила ученого мужа именем Петр, но судьба не попустила им быть вместе! Петра злые враги оскостили, а Елоизу заперли в монастырь. И они никогда больше не свиделись. Никогда! Только друг дружке письма слали. Знаешь, как Елоиза своему Петру пишет? «Дозволь мне смешать мои вздохи с твоими слезами, дабы облегчить твое страдание, ибо скорбь, будучи разделена, становится вдвое легче». И еще пишет: «Тебе желала бы я вручить остатки своей телесной красы, свои вдовьи ночи и тяжкие дни, но ты не можешь мною владеть, и потому я отдаю всё, что у меня осталось, Небесам!» Вот как она любит! Это уж не земная любовь — небесная! Так и мы с тобой станем друг дружку любить!

«Только ты будешь не в монастыре, а с Борисом», — тоскливо подумал Ингварь, глядя, как у нее на шее, под белой кожей, бьется жилка. Ах, губами бы прижаться...

— Лучше б меня, как того Петра, оскостили... — сказал он вслух.

Не было мочи на нее смотреть, находиться рядом.

Повернулся и побрел прочь.

* * *

И вовремя.

Борис, договорив с Михаилом Олеговичем, шел обратно. Конь, от закатного солнца не вороной, а лиловый, сам вышагивал за хозяином, переступая тонкими ногами по мягкой траве.

— Эй, Клюква, погоди!

Ингварь остановился.

Брат поглядел на Ирину. Она стояла, закрыв лицо руками.

— О чем толковали? — спросил Борис, но ответа не дождался. — Девка-то пригожая, а?

И выжидательно оскалился.

Душу Ингваря обожгла ненависть. Не к Борису — к себе.

«Слюнтяй! Одно слово — Клюква! Так тебе и надо! Мог, как Добрыня требовал, убить того, кто только зовется братом, а на самом деле лютый твой враг. Лучше совершить смертный грех, чем пресмыкаться червем!»

Поправил себя: нет, не лучше. Но следовало с самого начала твердо сказать: «Я тебя из половецкого плена выкупил и тем братний долг исполнил. А князь в Свиристеле я, и ты на мое место не цель. Не согласен — езжай на все четыре стороны». Сам во всем виноват. Сгубил себя,

сгубил Ирину, да и отчине с таким князем, как Борис, выйдет лихо...

— Сговорились с князь-Михаилом про свадьбу? — спросил Ингварь не своим, скрипучим голосом. — Когда играть будете?

— Свадьбу-то? — Борис вздохнул. — За свадьбой дело не станет.

— Понятно... Ухожу я из Свиристеля. Долю свою от добычи возьму и уйду. Живи тут князем, а я под тобой прихвостничать не стану.

Впервые Ингварь говорил с братом так жестко, непреклонно. Борис на миг отвел взгляд, а когда посмотрел снова, в глазах горел странный, хитрый огонек.

— На то твоя воля, братуша... Я что говорю: пригожа княжна Ирина. Ты на ней жениться хотел, помнишь?

У Ингваря перехватило дыхание от бешеной, нерассуждающей ненависти, которая не помнит ни о человечьем, ни о Божьем законе. Рука вцепилась в рукоять кинжала.

— Перехотел? — вроде как удивился Борис.

— Не глумись. Убью... — процедил Ингварь, держась из последних сил. Ударить булатом прямо в переносицу, меж насмешливых глаз. И будь что будет.

Брат угрозы не испугался, а рассмеялся — облегченно. Хлопнул по плечу.

— Не перехотел! Любишь ее! — Он смущенно потер кончик носа. — Я что подумал... На свете красных девок много. Засяду тут у вас, как в болоте. Михаил говорит: соединим княжества, станем вместе править. Каменный город поставим, будем караваны снаряжать, овец разведем — шерсть мотать... Скучно, брат. Как вообразил себе такую жизнь — тоска меня взяла. Послушай-ка... — Он хитро прищурился, в голосе зазвучала вкрадчивость. — Ты без меня тут хорошо управлялся. Княжествуй и дальше. А взамен отдай мне всю половецкую добычу, целиком. И пошел бы я от вас счастья искать. На юг, в греческую землю. На такие деньжищи можно снарядить хорошую дружину. Верну себе город Коринф, буду там жить. Заскучаю — пойду Святую землю воевать. А ты женись на Ирине, князь-Михайле не всё одно? Когда старый помрет, будешь князем уж не малым, а вровень с другими. Я же сюда более не вернусь. Хмуро тут у вас. Солнца мало. Рожи кислые... Что молчишь?

Ингварь молчал, потому что не верил ушам. Закружилась голова.

— Ладно, — с тревогой сказал Борис. — Четыреста гривен, которые ты за меня Тагызу выплатил, тебе верну. Но остальное — мое. Так пойдет?

Медленно, еще не веря, Ингварь кивнул. Просияв, брат снова ударил его по плечу.

— Вот это по-братски! Только еще одно условие. Кто из дружины захочет со мной идти — отпустишь. С оружием и конями.

— Ладно, — просипел Ингварь.

— Братуша, родная кровь!

Борис обхватил его руками, даже поцеловал на радостях.

Одним махом взлетел в седло, поскакал к дружине.

— Эй, все в круг! — зазвенел повелительный голос. — Говорить с вами буду!

А Ингварь отошел в сторонку, где трава поднималась выше. Встал на колени, чтоб помолиться — возблагодарить Господа за великое милосердное чудо, — да и загляделся на закатное небо.

Вот где было чудо так чудо!

Солнце уж спустилось за горизонт, но облака его еще помнили, провожали мановением алых, пурпурных, розовых платков. Не очень-то горевали по разлуке. Знали, что она будет недолгой, завтра свидятся опять.

Облака висели низко. Недалеко было и до Бога. Это Он смотрел на Ингваря, лучился покойной, ласковой улыбкой. Что-то тихо нашептывал, но слов было не разобрать.

— ...Купим корабли, поплывем в греческую землю! — неся с поля напористый голос. — Там житье сладкое, не то что здесь! Верну свой удел — всех рытарями пожалуй, а младшую дружину наберу из местных греков. Поживем, погуляем, пока не прискучит, а после отправимся в Святую землю, или, может, в Италию, или в Окситанское царство, лучше которого нет на всем белом свете! А можно в испанские земли, с маврами биться! Хорошую дружину всякий государь примет, золотом заплатит!

Ингварь закрыл уши ладонями, чтоб крик не мешал услышать и понять Божье шептание.

Услышал. Понял. Смысл был простой, ясный.

Кто-то тронул сзади за ворот. Обернулся — брат.

— Не прогневайся, Клюква. Я и сам не ждал, — виновато сказал Борис. — Конные все со мной хотят. А из пеших не идут только старики. Всего восемнадцать человек... Голым тебя оставляю. Опомнятся поганные, придут за Тагыза мстить — с кем отбиваться будешь?

Когда Ингварь не ответил, брат забеспокоился:

— Но ты обещал, что всех охотников отпустишь! Эй, куда ты всё глядишь-то?

Глядел Ингварь на маленькое облачко — почти что круглое, клюквенного цвета.

Улыбнулся, вспоминая услышанное. То же самое и сказал вслух, только переиначил по-своему, потому что точно таких слов в человеческом языке не было:

— Ничего. Управлюсь как-нибудь, с Божьей помощью. Мне отсюда уезжать некуда.



СОДЕРЖАНИЕ

ПЛЕВОК ДЬЯВОЛА

Агафодор	7
Святослав	37
Живка	67
Кикимора	80
Кут	99

КНЯЗЬ КЛЮКВА

Про арифметику	117
Про чудеса книгочтения	147
Про дальние странствия	181
Про Каинову печать	212
Про ужасы брани	235
Про Божье шептание	267

Литературно-художественное издание

История Российского государства

Борис Акунин

КНЯЗЬ КЛЮКВА ПЛЕВОК ДЬЯВОЛА

Повести



Редакционно-издательская группа «Жанровая литература»

Зав. группой *М.С. Сергеева*

Ответственный редактор *Т.Н. Захарова*

Подписано в печать 01.11.2018 г. Формат 84×108 1/32.
Усл. печ. л. 15,12. Доп. тираж 3000 экз. Заказ №10625.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры печатные

Произведено в Российской Федерации

Изготовлено в 2018 г.

Наготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, Российская Федерация, г. Москва,
Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. 1, 7 этаж.
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: zhanry@ast.ru

«Беспя Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, 1 хай, 7-қабат.
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: zhanry@ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz

Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приёму претензий на продукцию в Республике Казахстан:
ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8(727) 2 51 59 89, 90, 91, 92

Факс: 8(727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

◆

«...Но Господь судна иначе.

Взял отрока робкого, в себя не верящего,
ни к какому делу непригодного,
за шкирку, будто котенка. Швырнул в стремнину.

Можешь — плыви. Не можешь — тоня...»

Начало XIII века. Русь раздроблена и слаба. Для Ингваря власть — тяжелая ноша, а долг перед подданными его небогатого княжества требует работать усердно, не зная отдыха. Вот уже и люди начали сводить концы с концами, и хрупкий мир с опасными соседями-половцами держится, и правитель наконец осмеливается поверить в скорое счастье. Но что будет, если человек, на плечо которого Ингварь вправе рассчитывать, не сможет пройти искушение властью?

—

В книгу вошли повести «Плевок дьявола»
и «Князь Кляква», являющиеся частью
проекта Бориса Акунина
«История Российского государства
в романах и повестях».

◆

ISBN 978-5-17-104161-8



9 785171 041618



www.ast.ru